

Б И Б Л И О Т Е К А

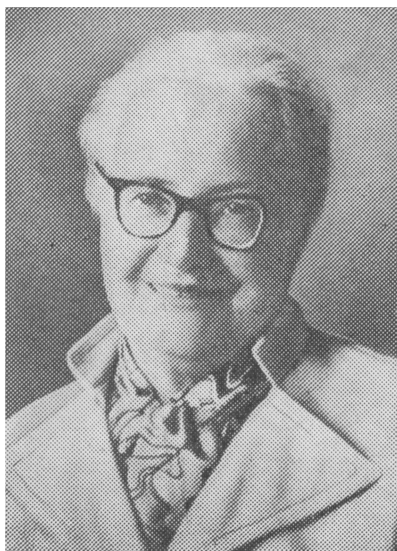
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 14

1985



*Ольга КРЕТОВА*

*ХОЗЯЙКА  
СВОЕЙ СУДЬБЫ*

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 14

Ольга КРЕТОВА

# ХОЗЯЙКА СВОЕЙ СУДЬБЫ

ПОВЕСТЬ-БЫЛЬ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1985

Ольга КРЕТОВА

Ольга Капитоновна Кретьова родилась 20 ноября 1903 года в г. Воронеже. С семнадцати лет учительствовала вместе с родителями в селе Чертовицком. Начала печататься в 1924 году.

В довоенные годы О. К. Кретьова — сотрудник областных газет, учится заочно в Литературном институте имени А. М. Горького.

Во время эвакуации в Зауралье была учительницей в средней школе, работала штурвальным на комбайне. В 1943 году — сотрудник газеты «Ульяновская правда».

После Отечественной войны работает снова в Воронежском областном издательстве и в областной организации Союза писателей. В пятидесятые годы пять лет была корреспондентом «Литературной газеты».

Ею написаны книги повестей, рассказов, очерков: «Выбор», 1932 г., «Черноземный край», 1939 г., «В стране чудес», 1941 г., «Каменная степь», 1949 г., «Хозяйка своей судьбы», 1958 г., «Воронеж», 1961 г., 1967 г. (в соавторстве), «Человек виден весь», 1964 г., «На дорогах жизни», 1975 г., 1978 г. и другие.

Большинство произведений Ольги Кретьовой — художественно-документальные повествования о родном черноземном крае и его людях.

О. К. Кретьова — член КПСС с 1930 г. Награждена двумя орденами «Знак Почета» и четырьмя медалями. Член СП СССР.

В настоящем издании повесть печатается с некоторыми сокращениями.

Из всех лесов я больше всего люблю дубраву. Кудрявую, широкошумную. В звонком гомоне птиц, в трепетном скольжении света и тени между мощных стволов, в несказанных ароматах цветов, грибов, земляники.

С дубравой мне хочется сравнить человека веселого, доброго, щедрого, стойкого в невзгодах.

Вот такой вижу я Матрену Федоровну Тимашову.

Когда мы впервые встретились, еще никто не звал ее по отчеству. Шла сессия облисполкома, посвященная награждению комбайнеров. Были здесь и трактористы.

После нескольких ораторов на трибуну поднялась девушка. Она была высокая, тоненькая, с неловкими движениями и с очень прямым, смелым взглядом светло-карих глаз.

Начав говорить, девушка наклонилась, чтобы посмотреть записи, подстриженные волосы ее упали на лоб. Она резко откинула голову.

Вскоре веселый гул сменился уважительным вниманием. Выяснилось, что молодая девушка старше многих собравшихся здесь. Старше не по возрасту, а по работе на машинах. Мотя села за руль трактора еще пять лет назад, теперь она бригадир.

Но с речью на таком большом собрании она выступала первый раз в жизни. Это было видно по всему. Когда она кончила, ей долго и дружно хлопали.

А в феврале 1937 года, когда Мотя Тимашова с шестью своими ученицами и подругами была в Кремле на совещании женских тракторных бригад, ее руку жала Надежда Константиновна Крупская и растроганно говорила:

— Какие молодцы! Видел бы Владимир Ильич...

Осенью Тимашову назначили директором МТС.

Это было смелое выдвижение. Встретили его по-разному: в областной комсомольской организации, где Мотю уже хорошо знали, — с гордостью, в земельных органах — с некоторым сомнением.

— Высоко взлетела, где-то сядет...

Но эти голоса вскоре умолкли. Шишовская МТС копила и копила добрую славу.

...Во время Отечественной войны мне пришлось два года пробывать в Зауралье. Возвратившись в разрушенный, сожженный Воронеж,

подведя горестный итог утрат, я, как встрече с другом, радовалась каждому знакомому имени на газетной полосе. С теплым чувством я прочитала, что Тимашова работает по-прежнему директором МТС, и все там же, в Шишовке.

Увидела я ее в год Победы. Она очень изменилась. У той, прежней Моти главной прелестью был ее неугомонный задор; Матрена Федоровна стала степенной, сдержанной. Под глазами легла тень пережитых страданий. Но столько в ней угадывалось внутренней силы, решительности, характера, что сами собой вставали в памяти строки поэта:

В беде не сробеет, спасет.  
Коня на скаку остановит.  
В горящую избу войдет.

Да, так оно и было. Над страной прошла военная беда. Были и разоренные города и пепел сожженных дотла селений. Но хлеб нужен был всем: ребенку и солдату. Эта женщина отвечала за хлеб. Она сеяла и жала для огромной семьи — для Родины.

И снова прошли годы.

Шишовская МТС неизменно была в числе передовых.

Тимашова, трижды орденосеица, депутат Верховного Совета СССР, приезжала в Воронеж на совещания и конференции. Иногда мы с ней встречались, беседовали.

Но вот мой журналистский путь привел меня в Бобровский район. Мне понадобилось побывать здесь на отчетно-выборных колхозных собраниях. Кроме председателей, на собраниях должна была отчитываться Тимашова за деятельность машинно-тракторной станции.

Матрена Федоровна предложила мне поселиться у нее и ездить вместе.

Выезжали мы рано, чтобы успеть до собрания посмотреть хозяйство. Дорогой Тимашова рассказывала о здешних местах. Все тут для нее близкое, родное. Каждая полевая балочка связана либо с веселым, либо с грустным, а то и со страшным случаем еще тех времен, когда первый трактор прокладывал свои первые борозды.

Мне захотелось написать обо всех этих событиях, начав с первой колхозной весны. Но потом пришлось оглянуться и на более давнее время.

Однажды Матрена Федоровна рассказала о своем детстве, о детстве крестьянской девочки, родившейся всего за три года до Октября, оставшей деревню в ее старом обличье.

Я сама помню деревню с тараканами в избе, с монотонным гудением прялок. И все же, слушая Матрену Федоровну, я испытывала странное чувство: казалось, что мы обе перенеслись не на сорок лет назад, а в глубокую старину.

Должно быть, и ей было странно. Притом она не знала, что довелось мне видеть, что нет, и все старалась растолковать.

Я не стану освобождать ее рассказ от пояснений старых слов и понятий. Ведь пишется это не только для наших ровесников, но и для молодежи. А спроси теперь сельскую девочку: что такое намыки? Вряд ли знает.

С рассказа о детстве и начинается наше повествование.

## БЫЛО И БЫЛЬЕМ ПОРОСЛО

— Смутно помню,— говорит Матрена Федоровна,— дедушка на полатах и возле него мы — девчонки, мальчишки, насыпаны, как горох. Сколько нас, не сразу и скажешь. В субботу каждая мать покличет своих, голову расчешет или рубаху сменит, а потом опять в общую кучу.

На печь нам лазить не велят: там бабка хвора. Лежит, кашляет, жалуется: «Ох, угораю, ох, задушили конопи». А где же коноплю сушить, кроме как на печи?

Слезет бабка, свернется на конике. Это лавка под образами, короткая, потому что близко дверь.

Мы тем часом — на печь. И что это старые выдумывают? Нам конопля хорошо пахнет: горячими блинами с зеленым, тягучим, сладким маслом. В углу тут рубель и скалка — катать белье. На гвоздях развешаны клубки шерсти: толкнешь крайний — все качнут. Этого моль не любит, если есть хоть одна — вылетит. Да и жарко тут для моли.

Зато тараканы в запечье кишмя кишат, хоть лопатой гребь. Полка, где лежит хлеб, от них аж черная. И стена над той лавкой, где бабы стряпают... Ни теста замесить, ни щей сварить.

Вот пока бабка кричит на конике (ей и там не слава богу: твердо, кости болят), мама берется за веник. Нас с печи сгонит и начинает тараканов мести. А сноха чугуном с кипятком подставляет.

Печь нам больше нравится, чем полати. Полати что — одни доски да тряпье! А печь в избе — самое главное, с нею и сыт будешь и не замерзнешь. Недаром и «хозяин» в подпечье живет. «Хозяин» — это домовой, но так его не называют. Какой он, дело темное. Кто говорит — как кошка, по лавке прошел и на потолок полез, кто думает, что он невидимый и только знаки о себе подает. Если он застонет, надо спросить вслух до трех раз: «К худу или к добру?» Если у лошади грива волнами, это хорошо: «он» ночью залетал. А если бока мокрые — «он» ездил, взмылил; та скотина не ко двору, надо масть сменить. Когда строят избу, «хозяина» зовут со старого места на новое.

Мы, ребяташки, всему этому верили, но без страха. Мы даже заглядывали в подпечье, посмотреть «его». Но там зимой полным-

полно тыквы, потому что в погребке она сгниет, на дворе замерзнет. А летом — кто же сидит летом в избе!

Еще жили за печкой предсказатели погоды — сверчки. Как они разыграются, рассверчатся, дед говорит:

— Ветер будет! Можно рожь подсеять, на мельницу поедем.

Кроме деда, были в семье еще мужики: мой отец, его брат, два дядиных сына. Остальных поубивали еще на той, германской, войне. Мужики зимой дома почти не жили. Нанимались плотничать — ставили срубы. Когда соберутся все, от дыма в избе не продохнешь. Нас они в первый день гостинцами одаривают, а на второй уже подзатыльниками.

Помню, закричало дите грудное, других разбудило, и зашлись все на разные голоса. Дядя как гаркнет:

— Бабы, заткните им рты, окаянным! Ну, чистый содом!

Тут бабы не стерпели:

— А вы, аспиды, о чем думаете? Четыре люльки враз качаем, ребятенки того и гляди побьются лбами. Теснота!

— В тесноте люди живут, а на просторе волки воют,— наставительно говорит дедушка.

Но баб теперь не унять:

— Людям дома рубите, а себе, знать, только домовину дожدهшься.

Кто-то из мужиков раздумчиво сказал:

— Да... видно, не миновать связь ставить.

Женский голос возражает:

— Связь, она навечно связывает... Хоть бы шестеричок, да особо.

И опять сердито гремит дед:

— Чего захотела, барыня лапотная! Может, пятистенку тебе?

Смысл этих слов и этого спора мне стал понятен много позже. Шестеричок, или шестерик,— изба в шесть аршин длиной и столько же шириной. Такие были у самой последней бедноты. Крестьяне среднего достатка имели избу-семерик.

Когда народу в семье становилось много: сыновья женатые, внуки — то со стороны сеней пристраивали вторую избу. Две избы, соединенные сенями,— это и есть «связь». В одной половине старшие живут. Им так способнее, и поговорить можно меж собой, чтобы дети не все знали. В печи тут обед варят на всю семью, пекут хлеб. Через сени, в другой половине, в печи варят скоту. Здесь живет молодежь и вместе с ней, как мы теперь бы сказали, молодняк: телята, поросята, ягнята.

Если разломить связь, опять получится два семерика.

А пятистенки в нашем селе стали строить только перед самой революцией. Это когда сруб внутри разделен пятой — бревчатой — стеной. В таком доме сени сбоку, потом изба, а потом чистая горница. В горнице уже есть кровать и шкаф, между окнами над столом — хоть небольшое — зеркало.



Пятистенку никто в дедовой семье и не загадывал, знали, что кармана не хватит. Разошлись по семерикам. Мой отец остался с родителями. Мне было тогда года четыре, и с этого времени я помню все уже хорошо.

У меня было живых три брата и сестра. Умерших не считали. Тогда в деревне много детей мерло. Старшему брату Ивану шел пятнадцатый год, он уже плотничал с отцом. Акульке сравнялось девять, ее посадили за прялку. Мишатка только народился. Моим товарищем — водой не разольешь — был Митроша. С ним мы и по возрасту подходили и по характеру — оба быстрые, проказливые. Что разбито, разлито, опрокинуто — все наша работа. Но свалить надо на Акульку. Она смиренница, бабушкина любимица, на нее хоть и замахнутся, а не ударят.

Я завидую Акульке: у нее уже есть нитка «первоучина». Эту первую нитку, когда девочка только начинает учиться прядь, сматывают в маленький клубочек и прячут в сундук. А когда девушка выходит замуж, из той нитки сплетут поясок и подпояшут ей сорочку на счастье.

Акуля уже прядет, значит, она «половина невесты». Бабушка с мамой обговаривают, что ей надо в приданое. Старый обычай требовал много: кроме своей одежды, девка приносила жениху двенадцать рубах: одна — с узором, вытканым по подолу, другая обшита кумачом, третья — гарусом, четвертая выстрочена цветными нитками, шестая... восьмая... все разные. Правда, теперь женихи избаловались, не хотят дмотканого. Но бабушка этого не понимает, у нее холст за все ответчик.

Холсты бывают тонкие и грубые, белые и синеные, гладкие и с вытканым рисунком — в клетку или полоску. Вот бабушка и твердит:

— Холсточка бы два клетчатой на наволочки, да холсточка три полосатой мужику на штаны, да утирки на каждый день, утирки на иконы к празднику, скатертей синих две — грешно за голым столом есть, — скатерть белую хоть одну, дежничок — тесто накрывать, четыре мешка под рожь, веретье — аршин двадцать пять...

И еще много-много насчитает бабушка, на что нужен холст в хозяйстве. И все внушает Акульке:

— Пряди, не ленись. Помни, что Дашке было.

А был тот случай, когда жили еще большой семьей. Дашка, дядина девчонка, прядла первую зиму. И все ухитрялась свой урок засветло кончать. И сразу на улицу к ребятишкам, на ледянке кататься.

Раз ее брат полез на чердак. Он там бабки прятал, а то, когда нет денег на керосин, мать польстится — продаст бабки. На них всегда купцы были, парни взрослые.

Вот Федя и кричит с потолка:

— Мамка, чегой-то тут прядево нашвыряно, не то куделя...

Это, значит, наша ученица каждый день понемногу своей конопля выкидывала.

Ну и была Дашке за косу куделя! А потом мать сняла с нее все до нитки и прогнала на печь:

— Ладно, ладно, дочушка, не пряди. Тебе ничего не надо. Ты у нас дурочка — будешь сидеть нагая.

С такого срама все девчонки, сколько их в доме было, в голос ревели. Мальчишки долго потом дразнились:

— У Дарьи-пряхи ни юбки, ни рубахи.

Мы их лупили, когда сладить могли, они — нас, а матери — и тех и других, чтобы не связывались.

Акуля очень боялась, когда вспоминали «нагую девчонку». А я, бывало, думаю: «Плохо Дашка прятала...»

Я была рослая и к восьми годам уже доставала подножку прялки. Посадили и меня за работу. Сначала я была довольна: теперь и мой клубочек в сундуке. Но скоро наскучило. Хочется в жмурки поиграть, с меньшим братом повозиться, а тут сиди и сиди, тяни и тяни... А намык не отбавляется.

Намыками у нас называют небольшие пучки конопля, подготовленной к прядению. У каждой намыки есть головка — комочек хлопьев — и будто волосы — расчесанное волокно. Чтобы волокно не спуталось, его наворачивают вокруг головки. Лежат намыки в мешке у матери. А дочерям она дает по норме, сколько та за день в силах отпрять.

Вот уже смеркается, а у меня в лубяной коробке, в намычнице, еще две-три штуки. Мне и вступит в голову: «А что, утаить одну?»

Оглянусь, не видит ли кто, — хватить намыку да за пазуху. После, когда понадобится выскочить во двор, я ее у сарая в сугроб засуну. И кажется мне: так надежно скрыла, не то что дура Дашка.

Настал март. Однажды пошел дедушка на рассвете проведать корову, не отелилась ли. Вернулся в избу, говорит:

— Какие-то головы куриные повылазили из-под снега. Не «хозяин» ли навтыкал?

Мать отвечает:

— Это к нашему горю знак.

А горе у нас уже в избе ночевало — бабушка померла. Я услышала про дедову находку, похолодела вся и завывла. Скоро стали собираться в избу соседки, иная погладит меня по голове:

— Золотое сердечко, как бабушку жалеет.

Я того пуще ужо. Самой бы умереть, только бы никто не узнал.

Мать вышла во двор, вернулась черная, как земля. Молчит, на меня не смотрит. Потом позвала в угол Акулину, советуется:

— Что с ней, подлой, сделать? Бить в такой день нельзя. Платок, что ли, не дать?..

Тут у меня и голос перервался. Неужто не дадут? Бабушкин, обещанный...

В нашей местности каждая старуха еще лет за несколько до смерти готовит похоронные платки. Черные — дочери, снохам, пестрые — внучкам. Это ее последний подарок всем женщинам в семье. В этих платках ее провожают на кладбище, а потом их можно повязывать хоть каждый день.

Лежал в бабушкиной укладке и для меня платок. Не какой-нибудь, а ситцевый, в цветочках, купленный в лавке. Я такого еще сроду не носила.

И вот конец! Не дадут! А бабушка не знает о моей беде... Заступиться не может...

Горят свечи. Бабы крестятся на образа. Я кланяюсь в землю и думаю: «Горькая я, разнесчастная, положите меня с бабушкой в одну могилку».

И сама не слышу, что уже вслух эти слова выговариваю.

Опять меня соседка похвалила:

— Умница моя, как складно причитает...

Все-таки в середине дня, когда собрались идти на погост, мать дала мне платок. Но, кажется, я ему и не обрадовалась. Так во мне все перегорело.

А после я долго-долго винилась в мыслях перед покойницей, просила у бабушки прощения, что в тот день плакала не по ней.

С тех пор я усердно пряла, так усердно, что ниткой пальцы до крови проедало. На большой, чтобы заживал, сошьешь чехольчик, а указательный терпит. На оба нельзя надеть — волокно не почувствуешь.

Сижу, пряду, бабушку вспоминаю. Уже год слабая была, а все заботилась. Начнет деда посылать:

— Сходи к овечьему пастуху... попроси... хоть бы три денька со стадом у нас на гумне постоял. Где навоз, там и конопи.

То наказывает ему:

— Ты, старик, сам посеи, на сына не надейся. Раскидает редко — вырастет на веревки да на гужи.

Это и без нее знали: чем конопля гуще — волокно тоньше. Но и то правда — старики были особые специалисты сеять.

Посевом мужицкая работа над коноплей и кончалась, вся остальная — бабья.

Конопля-матка, на которой семена будут, человеку по грудь. Зеленая, кудрявая, головастая. А мужские растения светлые, тонкие, выше выскакивают. Их надо по одной былке осторожно выдергивать. Это посконь, из нее самое лучшее волокно. С нее и начинается работа: сушить, мочить, мять, трепать...

Маточную коноплю, когда созреет, всю подряд берут. Ее сперва обмолотят, а до дела доводят поздней осенью.

Бабушка, бывало, лежит на печи, а разговор весь вокруг конопли:

— Как бы посконь не прижарилась, еще солнце летнее... Как бы не перемокла, вода в речке еще теплая...

А когда маточная конопля сушится:

— Сделай, старик, грешотку воробьев гонять. Их там тучи, небось! Да везите вы ее мочить, а то утренняя стукнут, из льда вырубать придется.

Что на улице — она чутьем знала. А тут, в избе, эта бабья фабрика вся была под ее рукой.

Вот на поминках дедушка выпил и пригорюнился. Дружок его — тоже в преклонных годах, — видно, хотел его беседой занять, говорит:

— Прибралась соседка. Хлопотливая была старушонка. Вековечная пряха.

Дедушка еще скучней стал, поддакнул ему:

— Вся жизнь нитку тянула...

И вдруг рассердился. Как стукнет стаканом!

— Заработала себе три награды. За то, что конопи мочила, — ревматизму на все косточки. За то, что сушила, — в грудях удушье. А на холстах гроб в могилу спустили.

Налил себе еще полстакана, выпил, махнул рукой. И спать полез не к нам на полаты, а на печь, на бабушкино место.

...В тот год брат Иван женился. Пришла в семью сноха Татьяна. Теперь мы вчетвером пряли, вся изба гудела.

Нам с Акулкой самое трудное было просыпаться. Задолго до света мама будила:

— Девки, девки, вставайте. Вот вам намыки.

Напрядешься при копилке, потом — в школу. А после обеда опять за прялку.

Но учение мое кончилось тремя классами. Оборвалась на время и пряха. Торговцу Кучину понадобилась батрачка.

## СТРАШНОЕ ДЕЛО

### 1

По календарю февраль, а на дворе март. Греет солнце, сгоняя снег. На Битюге уже и лед взломало. Старики говорят: «Если на Авдотью курочка на улочке напьется, то на Егория<sup>1</sup> овечка наестся». Да ведь Авдотын день только через две недели. Неужели такая сверххранная весна?

— Нет, — отвечает мне Матрена Федоровна, — вы обратите внимание на птиц: одни зимующие — воробьи, галки, а утиноного крика не слышно нигде.

<sup>1</sup> День Авдотьи (Евдокии) отмечался 1 марта по старому стилю, Егория (Георгия) — 23 апреля.

Матрена Федоровна — директор МТС и к тому же коренная крестьянка. Голоса природы понятны ей так же хорошо, как и язык техники.

Впрочем, если бы случилось такое невероятное происшествие — грянула весна в феврале, этого здесь не испугались бы. В МТС готовятся уже к уборке — ремонтируют комбайны.

Утро. Мы только что побывали в мастерской и, возвращаясь в контору, сделали небольшой крюк через сад. Не с какой-нибудь практической целью, а просто чтобышний раз постоять на взгорье, полюбоваться панорамой.

Село Шишовка, а вместе с ним и МТС находится на правом высоком берегу Битюга. Холмы то обрывами и осыпями, то спокойными склонами спускаются к реке.

Внизу — вода и лес.

Почти напротив нас вода, повторяя все краски неба, вольно разлилась по лугу, а лес отодвинулся к горизонту. Правее наступает лес, подошел к самым холмам, притиснул к ним реку. Она же, лукавая, бросив на старом пути цепочку озер, вдруг метнулась в чащу деревьев. Сейчас тут затор льда, белые глыбы сгрудились, встали дубом. Вода, затененная лесом, чуть коричневая, в ней отражаются стволы. И кажется, что деревья, отбрасывая тени, стоят на шлифованном стекле. Там, где в реку заглянуло солнце, вспыхивают серебряные струйки.

Вдали виднеется село Коршево. Оно расположено тоже высоко. Река, возвратившись из лесных скитаний, течет смиренхонько под крутым бережком, пока не выкинет нового колена.

Если петлять вместе с рекой, пожалуй, долго не доберешься до районного центра — Боброва. А по грейдеру до него от Шишовки всего восемнадцать километров.

Я смотрю на привольные места и пытаюсь представить, как выглядели они в те далекие времена, когда здесь только появились первые поселенцы — загонщики бобров. В старинных книгах написано, что село Бобровское, позднее переименованное в город, основано в конце XVII века и название свое получило от промысла речным зверем. Меха бобров в ту пору составляли важную статью внутренней и внешней русской торговли.

Имена рек и сел запечатлели различные страницы прошлого.

«Битюг» — слово татарское, оно напоминает, что некогда тут бродили кочевники. Позднее река дала имя выведенной здесь породе лошадей-тяжелозовов.

За победу над турецким флотом при Чесме Екатерина Вторая подарила графу Орлову в прибитюгском крае двести тысяч десятин земли. Села Чесменка и Хреновое — родина замечательных орловских рысаков.

Сегодня нам надо было ехать в Чесменку на отчетно-выборное собрание колхоза. Но случилось так, что собрание там отложили. Теперь мы два дня кряду проведем в Коршеве.

Матрена Федоровна смотрит на разводья Битюга, на белые торосы и неожиданно говорит:

— Тот бандит реку хотел по льдинам перейти. Да не успел и спрятался под кручей.

Я понимаю, о чем она вспоминает. Эти трагические события не уходят в глубь веков. С точки зрения истории, они — наша современность. Но если измерять время переменами, которые произошли в деревне, события первого года коллективизации — уже давнее прошлое.

В селе Коршево 26 марта 1930 года кулаки зверски убили коммунистов, организаторов колхоза.

Среди жертв кулацкой расправы был и председатель сельсовета Егор Тимашов, дальний родственник Матрены Федоровны. Она и сама из Коршева. Вчера я просила ее рассказать, как все это случилось.

— А что говорить? — возразила она тогда. — Вы возьмите «Бруски», там это кровавое дело описано. Фамилии другие и место названо не наше, а происшествие здешнее. И дом двухэтажный, где убивали, и как главный бандит прятался... Все как есть сходится.

Матрена Федоровна не ошиблась. В тридцатые годы писатель Панферов подолгу жил в селе Репном под Воронежем. Мы, начинающие литераторы, иногда бывали у него. Кто-то из областных партийных работников сообщил ему о кулацком мятеже в Коршеве. Панферов сразу поехал туда, и через некоторое время в газете появился отрывок, озаглавленный «Событие в Полдомасове». Это была новая глава романа «Бруски», над которым писатель тогда работал.

Все же мне хочется, чтобы Матрена Федоровна поделилась тем, что она сама помнит.

— Испугалась я очень, — говорит Тимашова, и по лицу ее пробегает тень. — Мы ведь как раз напротив того дома жили. Когда началось волнение на улице, мой отец говорит: «Что-то будет. Ох, недоброе будет! Надо холодное оружие прибрать». Я удивилась: какое у нас оружие? А он собрал топор, косу, вилы, отнес в ригу и зарыл в соломе.

А возле сельсовета уже бушует пьяная толпа.

Тут все и свершилось...

Дедушка наш уже слепой был, девяностолетний. Я к нему полезла на печку, вся трясусь, кирпичи горячие, а меня знобит. Там в мешке просо лежало, досушивалось. Дедушка пододвинул мешок, укрыв мне ноги. Сам молитву шепчет.

У нас полная изба народу. Женщины кричат. У одной муж там был в сельсовете. Он выскочил, его убили тут же посреди улицы.

Матрена Федоровна встряхнула головой, словно отгоняя тягостные видения.

— Вот поедем, вы у моих родителей спросите. Старые, они памятливые.

Часа полтора спустя мы были в Коршеве.

На площади — серый каменный обелиск. Высечены фамилии, но их трудно разобрать. Матрена Федоровна называет некоторые:

— Горский, председатель колхоза. Енин, заместитель председателя колхоза. Тимашов, председатель сельсовета... Его сестра была замужем за кулацким сыном, он вместе со своим отцом и убил Егора, потом у гроба плакали, притворно. Обоих прямо с похорон взяли под стражу. Касилин, уполномоченный райкома партии. Осипов, секретарь комсомольской ячейки.

Всего погибло четырнадцать человек.

— Два гроба отправили в Москву, — говорит Тимашова, — из газеты был товарищ и, кажется, из «Колхозцентра».

Мы пересекаем площадь и выходим к двухэтажному дому. Низ у него кирпичный, верх деревянный. Сейчас тут сепараторный пункт сырозавода. Были и другие съемщики, и, говорят, каждый почему-то прорубал новый ход. Здание обветшало, облупилось. И вид у него такой, будто оно всеми проклято. Будто не поднимаются у людей руки восстановить, обновить стены, где совершилось злодеяние.

— Снести бы, что ли, это пугало, — говорит и Матрена Федоровна, видимо, разделяя общую неприязнь.

Изба, где живут родители Тимашовой, стоит на противоположной стороне улицы. Раньше она глядела окнами прямо на двухэтажный дом, но года три назад избу перестраивали и немного отодвинули в сторону.

Поднятая на новых венцах, изба приосанилась, помолодела.

— Теперь у отца душа на месте, а то он все горевал: «Мне и на погосте покоя не будет, если избу не поправлю. Пройдет человек и осудит: «Что ж ты, Федор Михайлович, так оплошал? Был ты вековечный плотник, а внукам оставил развалюшку». Ну вот, убогатворил профессиональную гордость, — с доброй улыбкой говорит Тимашова, — каждое бревнышко скатил на землю своими руками и наверх поднял своим плечом.

— Матрена Федоровна, — восклицаю я, изумленная, — сколько же ему лет, вашему отцу?

— Тогда семьдесят два было, — отвечает она, — а маме семьдесят четыре. Да чему вы удивляетесь? Наш род кряжистый. Ну, и сын, конечно, подсоблял, внуки, племянники.

Она хозяйской рукой нажимает на щеколду двери и, обернувшись, подмигивает мне:

— Мама, небось, уже в праздничном платке сидит.

— Как же она угадала?

— По телевизору видела, что мы в Коршево собираемся,— шутит Матрена Федоровна.

И я наконец замечаю, что «газик», с которого мы только что сошли на площади, стоит у ворот дома Тимашовых.

Платок на Анне Алексеевне черный, трудно определить, праздничный или для каждого дня. А вот голубая байковая кофта, под цвет глаз, и впрямь только надета. Из-под платка выбились пряди волос, в которых лишь с трудом можно рассмотреть несколько серебряных нитей. И это в семьдесят семь лет!

После, когда мы уже вполне освоились, Анна Алексеевна, заметив мой пристальный взгляд, говорит с нотками безобидного тщеславия: — Я темно-русая,— и в доказательство совсем сдвигает платок.

А у Федора Михайловича густой иней пал на голову и пышную бороду. Из-под кустистых бровей смотрят живые карие глаза.

Значит, правильные тонкие черты лица и волосы с каштановым отливом у Матрены Федоровны — от матери, а быстрый взгляд карих глаз — от отца.

Визбе, как и повсюду сейчас в деревнях, сочетания старого обихода и нового: монументальная русская печь, а рядом на лавке — керогаз, крестьянская деревянная кровать, а у второй стены — металлическая, с никелем.

Старики рады, что их навестили. Федор Михайлович немного суетится, усаживая нас на деревянный диван, должно быть, его собственной работы. Приходится разочаровывать славных людей: от угощения мы отказываемся, и вообще мы ненадолго, проездом.

— Какой разговор за пустым столом,— ворчит отец.

Мать тоже хмурится.

Но Матрена Федоровна весело атакует родителей:

— А вы у меня подолгу засиживаетесь? То вам к тем внучатам надо, то к другим. То по хозяйству какая нетерпячка. Вот и у меня так. Ольга Капитоновну, пожалуй, оставляю вам на часок.

И родители сдаются: видно, у всех свои заботы.

Расспросив стариков о том, о сем, Матрена Федоровна поднимается, чтобы ехать в бригаду.

И вот мы остаемся втроем.

## 2

— Кулаками, лесными торговцами, перекупщиками Коршево было битком набито,— начинает неторопливый рассказ Федор Михайлович.— У нас за Битюгом знаменитый Хреновский бор. Еще Петр Первый с того леса корабли строил для азовских походов. В Боброве и сейчас есть слобода Азовка.



Перед самой революцией много распродали леса помещики. Ну, и казна тоже. Торговцы выкупали делянки, нанимали пильщиков. Потом вывозили лес в села, где были сговорены плотники. А продавали уже готовые срубы.

Бывало, глянешь на Коршево: всюду срубы, срубы, срубы. Можно подумать, все село строится заново. А это не себе — людям. Набивает карман подрядчик, а иной бедняга плотник и тому рад, что зиму щепой протопился.

Где мы живем, по этому проулку была через Битюг зимняя дорога. Валы по ней для мельниц из леса вывозили на восьми, на десяти парах лошадей. Лед на реке лопался.

Ну, вытянут на гору такую махину — надо отдыхать и коням и возчикам. А тут, пожалуйста, постоянные дворы, лавки, чайные — что душе угодно.

Торговец Зарубин выстроил себе единственный в Коршеве двухэтажный дом. В нем восемь комнат и зала. Внизу магазин, кухня, чайная. На втором этаже жили сами. Так у них коридор застекленный на улицу, по-теперешнему сказать — веранда, или балкон, что ли. И еще коридор открытый — во двор. Куда хоромы! Сам Михайло Данилыч что-то с ума спятил, под поезд лег. Владел всем брат. У них паровая мельница была, с того и забогатели.

Но еще сильнее жил Василь Палыч Кучин, хотя и не строил себе городского дома. Кучин греб доход со всех сторон: много имел земли, скота, ссыпку хлеба, колесную мастерскую, мануфактурную лавку, пекарню и тоже обязательно чайную. До революции у него батраков было человек двадцать. Потом все меньше и меньше. Когда Мотя у него работала, он уже совсем свертывался.

Слишком неровно жили у нас в Коршеве. Тут тебе — голь непокрытая, и тут — двор ко двору, богачи-толстоеумы.

При Советской власти, когда богачей стали подстригать, они пустились на хитрости. Делились для отвода глаз, на какую-нибудь незамужнюю девку-недоростка записывали половину хозяйства. Землю арендовали тайно. Батраков не держали, а в поле, на гумне — все будто сироты-племянники.

Когда появились первые артели по совместной обработке земли, кулаки еще ниже пригнули головы. Стали продавать свои дома. Зарубин продал дом кредитному товариществу. Наверх туда, во второй этаж, перешел сельсовет.

У бедноты были вожак — коммунисты. Вот, к примеру, Шарапов. В молодости он работал на путиловском заводе, в день Кровавого воскресенья ходил вместе с другими «просить милости у царя». Потом стал большевиком, был в нашей волости на подпольной работе. Шарапов и в тюрьмах сидел за народную правду. Вернулся в Коршево, стал крестьянствовать. В колхозе его назначили заведующим хозяйством.

— Тут как раз началась борьба за землю. Шарапова и ударили первого ломом по голове, — помолчав, говорит старик Тимашов. — Это Михаил Николаевич Пастухов видел, он тоже там был, наверху, только чудом спасся. Он теперь бригадир в колхозе.

Но не будем забегать вперед.

Значит, к тридцатому году много народу потянулось в колхоз. Кулаки озлились. По селу поползли слухи.

Объявился какой-то офицер. Какой-то бродяга смущал женщин, будто папа римский благословил крестовый поход против колхоза.

— С неделю до этого Егор заходил к нам, — вставляет слово Анна Алексеевна. — Попросил щец похлебать. «А то, — говорит, — домой сбежать некогда». Заботы его обуяли. Колхоз был еще как ребенок в люльке, а Советской власти уже шел тринадцатый год. Со старшего и спрос больше.

Двадцать шестого марта в сельсовете собрались коммунисты, местные и приезжие, комсомольцы и колхозные вожаки. Надо было решить много вопросов: о семенах, о рабочем скоте, о коллективном выезде в поле.

А ночь уже была тревожная. По селу сновали неизвестные люди.

Утром вдруг в церкви зазвонили как попало: не поймешь, праздник или пожар. Егор Тимашов съездил туда — вроде все в порядке.

— Наши окна были прямо против сельсовета, — говорит Анна Алексеевна. — Тут и стан стоял, Мотя ткала. Возле нас еще снег лежал, а та сторона сухая, солнечная. Люди на бревнах сидят, покуривают.

Вдруг, смотрим, идет толпа, с вилами, с косяками. И будто не наши, а из других сел. Впереди человек маленького росточка.

— В «Брусках» он назван Яшкой Чухлявым, — поясняет Федор Михайлович, — а был Семен. Из бедняков, но бандит уголовный, уже сидел за убийство.

Возле сельсовета было длинное бревно на столбах, лошадей привязывать. Семен стал на эту коновязь — как он, пьяный, не сорвался? — задрал морду кверху и кричит, грозитя.

В коридоре окно открыли, подошел Енин, видно, уговорить хотел. Он был авторитетный в народе.

Да людей там в ту пору не было, одно осатанелое зверье. Енину сразу камнем в лицо.

Пьяные громили разломали коновязь, вышибли бревном дверь. Кучка их проникла в здание.

Панферов в своей книге утверждает, что был тут и момент вольной или невольной провокации (Яшка обещал, что сдавших оружие не тронут) и доверчивость честных сердец, боязнь запятнать священное знамя партии. Ведь коммунисты знали, что в этой орущей толпе не только сознательные враги, тут много обмануток.

Единственный ныне живой свидетель, бригадир Пастухов, сквозь

ужас того дня и сквозь прошедшие годы смутно вспоминает, что один из коммунистов сказал:

— Кто сейчас выстрелит, тот расстреляет колхоз и доверие народа. Коммунисты отдали оружие.

И тотчас же над ними началась расправа.

Ночь была мертвая. В Боброве ничего не знали.

Сосед наш, старик, был мирошником на зарубинской мельнице. Я пошел к нему, говорю: «Ведь тут люди валяются, давай делать охрану или дежурство». А он крови боится, даже свиней никогда сам не резал. Он только дал фонари с мельницы. Мы повесили один у входа, два на телеграфных столбах. Стали с другими мужиками караулить.

Дождик пошел. Теплый. Совсем весна.

Вдруг часов в двенадцать ночи едет верховой. Наехал на мертвого, лошадь всхрапнула.

Он увидел меня на крыльце, спрашивает:

— Что это — пьяный?

Я его по голосу узнал: это был наш парень, коршевский, а служил в милиции.

— Нет, Паша,— отвечаю, это убитый, и он тут не один.

У верхового и голос изменился:

— Что же тут произошло?

Я говорю:

— Тут было страшное...

Утром приехали из Чесменки, из Боброва, началось следствие.

...Федор Михайлович рассказывает, как в Песковатке поймали главаря банды. Он хотел переправиться через реку и прятался под крутым берегом за льдиной. И как на следствии путал: преступников «не угадывал», а невинных приплетал. К нему подвели военного, переодетого в крестьянскую шубу: «А этот человек был?» Он говорит: «Был». Так и убедились, что он оговаривает. Потом суд, приговор. Что заслужили выродки, получили сполна.

А лучших людей, товарищей дорогих, уже не вернуть.

### 3

Рассказывает Тимашов, как создавались колхозы. Сначала один громадный, на все село. Но как управляться с такой массой земли, скота, инвентаря, как организовать людей, учитывать их труд — никто не знал. И колхоз-гигант распался еще до весеннего сева.

Но люди уже хотели работать сообща. И вот, как грибы после дождя, стали нарождаться мелкие колхозы.

— На каждой улице свой колхоз,— улыбается Федор Михайлович.— «Знамя революции», «Балтфлот», имени Ильича, «Комсомолец», «Восьмое марта»... Всех и не упомнишь.

А сливались они постепенно, когда тракторы появились.

Зимой Бобровская МТС организовала в Коршеве вечерние курсы трактористов. Стала и Мотя проситься на курсы.

— Она под меня такой ключик подобрала, — вспоминает отец. — «Все равно, мол, я с девками на улице прохожу. Гармонь там, пляска — обувку бить буду. А то и полсапожки целы и, глядишь, научимся чему-нибудь». Я вижу: годов немного, а мысли здравые, значит, пусть идет. Вот мать долго не соглашалась.

— На что не надо ты, дед, памятливы! — притворно замахивается на него Анна Алексеевна. — Зимой самая наша женская работа — прясть, ткать, — говорит она задумчиво. — Не выткешь, бывало, юбочку, так и надеть нечего. Полсапожки, те у нее одни были, про свят день. А в чем она на курсы пошла? Пиджачишко суконный, домотканый, на ногах — поршни. Вы видели когда-нибудь поршни?

Да, очень давно, еще в детстве, я видела их в деревне. Кусок сыромятной кожи сгибают корытцем по размеру ступни. Задник зашивают дратвой и прикрепляют шерстяную тесьму или просто веревку, чтобы обматывать вокруг ноги. У носка прокалывают шилом много дырочек и тоненьким ремешком стягивают кожу в сборки. Если ремешок оборвется, нога сразу вся вылезет, как орех из гнезда.

— А наш отец самой первой обувью считал лапоть, — говорит Федор Михайлович.

Анна Алексеевна тихо смеется:

— Это было его дело. Пока еще видел он, знатные выделявал, семерные. Лыки на них берут мелкие, беленькие, а спереди вплетывают еще мельче, прямо как бисер. В таких нарядных даже в церкви можно было стоять. Когда же стал незрячим — простые плел, из пяти лык. Бывало, скажу: «Хватит тебе, батюшка, на лапти уже мода отошла, девки, ребята их не носят». Он скажет: «Ну, сама обуешь», а потом лежит, бурчит: «Моды вам. В городе вон — каблук мода. А я так думаю, он в наказанье придуман. Ты, барыня, в поле не работаешь, на тебе каблук — мучайся! Ведь это как вытерпеть — жми и жми на пальцы...» Помолчит немного, опять рассуждает: «И поршни ваши — мода. В печку их не положишь: засохнут, на ногу не полезут... Провище плохое — лапотник. А обувь хорошая. В лапте нога играет».

— Старинный был человек батя, — говорит Тимашов, — многого недопонимал, а курсы понял. Прежде тебя сказал: «Пускай Мотя учится».

Анна Алексеевна рассердилась:

— Это и при царе в букварях писали: «Ученье — свет, а неученье — тьма», — нехитро понять. А ты вспомни, время какое было. Сам в газетах читал: и керосином их, трактористов, обливали и в буераки спихивали злыдни кулацкие.

— Ну, матерых зверюг к той весне уже повыгоняли,— замечает Федор Михайлович.— Волченята, правда, кое-где оскаливались... А помнишь, какая отвага у бедноты явилась?

— Да уж помню, помню,— опять усмехается жена,— тебя тоже в какие-то активисты выбрали.

Она обращается ко мне:

— Дни и ночи пропадали на собраниях. А придет, спрошу: «Где был, что делал?» Он думает, баба все равно в политике не смыслит, скажет что-нибудь обиходное: либо «нанимали пастуха», либо «дорогу решили сделать». Так во мне все и закипит: «Сколько же вам пастухов надо — всю зиму их нанимаете! Сколько дорог! До Москвы, что ли, думаете проложить?»

— А ведь проложили дорожку-то,— говорю я.— Дочка начинала...

Мать согласно кивает головой.

— Она, Мотя! Но до этого, знаете, сколько всякого было? Как в пословице: семь верст до небес и все лесом.

И она снова рассказывает:

— Стала трактор заводить — рукава под мышками так и лопнули. А с работы первый раз идет — вся, как земля, черная, одни зубы сверкают. У нас была собачонка, Лебедек, выскочила из-под ворот, загавкала. Я руками всплеснула: «Дитя мое милое, на кого же ты пожожа? Лебедек тебя не узнал!»

— Она бесстрашная была,— с гордостью говорит отец.— Раз переезжала на тракторе через Березовку, а мостик «дышит». Председатель сельсовета на том берегу стоит ни живой, ни мертвый. Говорил потом: «Если бы ты провалилась, я бы сам в воду прыгнул». А она только смеется: «Ну и зря. Ты бы утоп, а трактор никуда не денется, его водой не унесет». — «Тьфу, глупая девка! Я же не топиться, я тебя вытаскивать». — «За мной не нырять, а наверх лезть пришлось бы. Я бы на выхлопную трубу взобралась».

У Анны Алексеевны свое, материнское.

— А помнишь, как Василий пришел за нее свататься? Ей тогда только что спецовку выдали — комбинезон синий. Он на гвозде висел. Я и говорю: «Вот все ее приданое. Да голова на плечах». А Василий смеется: «Нам того и надо».

— Ольга Капитоновна,— вдруг обращается ко мне Тимашов, и в голосе его звучит что-то необычное, будто даже тревожное.— Тут один злоязыкий обижает нас, говорит: «В ней, в Матрене, вашего ничего нет. Ее партия воспитала». Ну, что вы скажете?

— А что вы ему ответили, Федор Михайлович?

— Я ему по-плотнички сказал: «Сперва обтесать надо, а потом уже выстругивать».

— Правильно,— поддерживаю я.— Как это ничего нет от родителей? А трудовые руки?! А светлая голова?!

Старики очень довольны. В их глазах теплится благодарность.

Разговорбв и воспоминаний нам хватило бы еще надолго. Но приехал шофер и сказал, что Матрена Федоровна ждет меня на ферме.

## ТАК ВЫХОДЯТ В ЛЮДИ

### 1

Первый трактор прошел через Коршево в 1928 году. Бежали за ним и стар и млад. Бежала и подросток Мотя.

Но даже и во сне тогда ей не привиделось, что всего через два года она сама будет управлять такой машиной. И вовсе невдомек было Моте, кто сидел за рулем. А был это первый тракторист района, удалой комсомолец Василий Фролов — ее будущий муж.

Когда открылись курсы, на коршевских полях еще не было ни одного трактора. И мало кто верил, что они будут. Просто хотелось учиться, все равно чему — лишь бы учиться.

Одним из самых щемящих воспоминаний детства было у Тимашиовой такое.

Сгибаясь под тяжестью ведер, она, десятилетняя девчонка, несет поило свиньям. Из-за тесового забора приглушенный голос:

— Мотя!

С размаху поставила ведра, оплеснув юбку и ноги. Приникла к щели в заборе, глаза в глаза.

— Наталья Филипповна, вы?

Жарким шепотом учительница уговаривает девочку не бросать школу. Да разве ее надо просить или звать? Она бы бегом побежала...

Нельзя! Дома, как говорит дедушка, «хлеба — до обеда, а щей — до ужина». Приходится свой кусок добывать самой.

Почти пять лет работала она по найму в хозяйстве кулака Кучина.

И вот теперь те же глаза, тот же голос:

— Мотя! Как я рада!

— Здравствуйте, Наталья Филипповна! Можно мне на свою прежнюю парту сесть?

На курсах было двенадцать парней и четыре девушки. Занимались вечерами, сначала только чтением, письмом, арифметикой. А дальше — больше, появился во дворе трактор.

Механик заходил к Тимашовым, говорил:

— Ваша девочка с хорошим понятием, толковая.

— Толк, может, и есть, да не втолкан весь,— возражала мать и каждое утро задавала свой урок: «Отпрядешь двенадцать намык, тогда иди».

Чтобы выполнить эту немалую норму, Мотя садилась прясть не под окном, а на заднюю лавку. Хоть света меньше, да работа спорей, а в окно можно заглядеться.

Экзаменовали курсантов на площади.

— Я за рулем, а инструктор на крыло сел,— вспоминает Тимашова.— «Въезжай, говорит, задним ходом вон в те ворота».— И показывает на бывший зарубинский дом.

Еду мимо своей избы. Смотрю: народу много, и мама в окне. Лицо испуганное, пальцем себе в лоб тычет. Понять можно так: «Ты, девка, рехнулась...»

Провела я трактор между каменными столбами, не царапнула. Теорию тоже хорошо сдала. Получила премию — десять рублей. Тут мама обрадовалась...

К весне 1931 года в Коршево пришло из Бобровской МТС шесть новых тракторов. Началась пахота.

— В первый день у меня трактор в ложине увяз, так я вся от слез опухла. Думала, непоправимую беду сделала. А бригадир подогнал второй трактор — мигом вытащил.

После, когда сама была бригадиром, я девчат отучала от этой нашей женской привычки.

Слышишь, бывало, перестал урчать трактор. Прибежишь, а она обхватила переднее колесо обеими руками, упала на него головой и ревет. Спрашиваю: «Ну что ты его слезами обмываешь, что сразу на помощь не звала?» Она говорит: «Да как же сразу?.. Надо же выплакаться...»

Весну проработали хорошо, осень — хуже. Некоторые детали износились, другие мы, неумехи, поломали. А запасных частей не было.

На зимнем ремонте с нас семь потов сошло, — усмехается Матрена Федоровна.

И неожиданно трудная эта зима обернулась для нее весной любви.

Василий Фролов работал в Сухой Березовке, в колхозе Краснознаменском. Потом его бригаду перебросили в Юдановку, там чуть ли еще не со времен ногайских татар остались большие площади нераспаханной степи. Задание было ответственное, поэтому и поручили его самым боевым трактористам. А о бригаде Фролова было такое мнение, что она «черту рога обломает». И не напрасно. Фролов со своими ребятами так рванул, что, если бы лежал там черт в окаменелой, проросшей дерном земле, от него бы только клочья полетели.

Досталось и тракторам. Зимой на ремонте Фролов потел, может, больше всех.

Мотя заметила Василия по кожаной тужурке и бритой голове. Тужуркой его премировали за ту «поднятую целину». И тогда же он — единственный из МТС — ездил в Москву на экскурсию.

Бритой, правда, была вся его бригада. Это он ввел такой порядок, убежденный, что от пыли может случиться колтун в волосах, а чистота — лучшая красота.

— А у меня косища была ниже пояса,— говорит Матрена Федоровна.— Заматаю ее вокруг головы, обвяжу платком туго-натуго и работаю. Зимой в мастерской иной раз и не прятала.

Как-то раз чую, кто-то дерг за конец. Обернулась — это Василий мою косу плоскогубцами ухватил. «Ишь,— думаю,— шутник».

Моя смена только начиналась, а он уже кончил. Вдруг подходит, говорит:

— Либо я в кино схожу?

Я отвечаю:

— Ну, сходи.

Он пошел, а мне так удивительно стало: что это между нами произошло? Вроде он у меня позволения спросил, а я разрешила. Кто же он мне такой? Мы с ним и не разговаривали никогда...

Кончилась смена в полночь — он тут! Взял меня под руку, и все пошла одной улицей, а мы почему-то другой.

Я его для порядку побранила:

— Как не стыдно,— говорю,— это в школе мальчишки девчонок за косы дергают, а вам, передовому бригадиру, такие детские глупости ни к чему.

Он сдвинул платок с моего уха и шепчет:

— Это никакие не глупости. И совсем не детские. Это я тебя, как Иван-царевич, за косу поймал.

А на улице ни души, можно бы и громко сказать.

Но поженались Фролов и Тимашова только через год, и тоже в разгар зимнего ремонта. Чтобы отпраздновать свадьбу, дал им директор МТС отпуск на целых... два дня!

— И все-таки пришлось мне с косою расстаться,— улыбается Тимашова милому прошлому.— Некогда было ее холить. Ну, однажды Василь Михалыч шутил-шутил да и остриг ее овечьими ножницами. А сам, хитрец, как сделался механиком, голову перестал брить. И, что вы думаете, такая шевелюра выросла! Вот как бывает: влюбилась в бритого, а замужем оказалась за кудрявым.

...Весной 1933 года Василий работал разъездным механиком, а Мотя — по-прежнему трактористкой в коршевском колхозе.

— В ту весну каждый трактор мы всей бригадой заводили,— рассказывает Тимашова.— Ослабли. Два года была засуха, неурожай.

Колхоз старался поддерживать трактористов, давал ведро овечьего молока. Мы добавляли два ведра воды, две кружки пшена и варили кулеш. Из сельпо привезли бочку квашеной капусты, бочку повидла. Вот и все продовольствие.

В хлеб чего только не подмешивали. А больше — сушеный лист.

По субботам Фролов заезжал за Мотей в бригаду. Выходной день



они проводили дома. И всегда у него был припасен гостинец — несколько ломтей чистого ржаного хлеба. Это он свой паек сберегал для молодой жены.

Анна Алексеевна хвалилась:

— Молодец у меня зять. Жалеет Мотю, а сам пышки зеленые ест, только похрустывает.

И наконец земля впервые щедро оплатила труд. На колхозных полях налился и вызрел большой урожай.

В декабре, когда Мотя провожала мужа на действительную службу в армию, были на столе и блины, и оладьи, и пшеничные пироги.

## 2

Прошло два года.

Демобилизованный старшина Фролов возвращался с Дальнего Востока домой. В Иркутске соскочил на станции, купил «Правду». И только развернул — портрет. «Бригадир лучшей тракторной бригады Матрена Федоровна Тимашова!»

Но, проезжая Москву, не знал Василий, что она тут, на совещании. И Мотя не знала, что муж, торопя время, шагает по перрону Павелецкого вокзала, ждет не дождется второго звонка.

Так и разминулись они. Пришлось Фролову вместе с колхозниками и механизаторами двух МТС встречать награжденную орденом жену в Боброве.

Обстоятельства этой встречи Матрена Федоровна сейчас окрашивает юмором, но тогда ей было совсем не до смеха.

— Сказали: «Муж приехал». Я думаю: «Вот две радости сразу!» Выхожу из вагона — народу тьма, оркестр играет. И военных много, все в шинелях. Я иду мимо них, на каждого взглядываю: «Нет, не он, нет, не он». Сама уже горю от стыда. Что обо мне добрые люди скажут? «Возгордился Матрена — мужа не узнает!» Подходит секретарь райкома: «Тебе выступить надо». А мне кажется — я двух слов не свяжу. Неудобно, зачем такое торжество? И еще неудобней — мужа не могу найти. А он, чудодей, нарочно спрятался. Уже когда речь кончила, сам подошел.

За прошедшие два года Матрена Федоровна хорошо потрудилась. Была она помощником бригадира комсомольской тракторной бригады Бобровской МТС, а когда в январе 1935 года организовалась Шишовская МТС, стала бригадиром.

Трактористами здесь набрали взрослых женатых колхозников. Они только что окончили курсы и чувствовали себя неуверенно. А у Моти был уже опыт. Пришлось ей после молодежной бригады переключиться на руководство «стариками». Дело и тут пошло на лад. Бригадира Тимашову наградили орденом «Знак Почета».

На Всесоюзном совещании передовиков знатная трактористка

Паша Ангелина выступила с призывом создать в МТС женские тракторные бригады. Со своей бригадой она обязалась выработать по 1600 гектаров пахоты на каждый трактор.

Мотя решила не отстать.

Василию Фролову тоже нашлось в новой МТС немало работы: он был механиком, заведовал ремонтной мастерской, преподавал на курсах да еще возглавил комсомольскую организацию.

Супругам отвели при МТС небольшую двухкомнатную квартиру. И сюда, в одну из комнат, они поместили шесть девушек — всю будущую бригаду. Напротив квартиры стояли три трактора, девушки могли практиковаться сколько угодно.

— Сначала ни одна не могла завести трактор,— вспоминает Тимашова.— Я показываю: рукоятку надо брать сразу, снизу... Потом (первый успех!): «Мотя, я вкруговую кручу!» — это уже значит, легко завелся.

Забавно получилось с именами. В бригаде две Матрены, одна Поля и четыре Марии. Для различия одну так и звали Мария, другую — Маша, третью — Маня, четвертую — Маруся.

Характеры, конечно, у всех разные. Аристова — неулыбчивая, молчаливая. Костромина — смешливая говоруха: «тысяча оборотов в минуту». Тринеева — с гонорком. Рассердится за какой-нибудь пустяк и обедать не идет.

На Маше Тринеевой мой брат Митрофан женился. Многих трактористок у нас потом бригадиры увели, дети у них пошли, некоторые в МТС работать бросили. Бывало, сижу на колхозном собрании и считаю, сколько тут «трактористок запаса». «Ничего,— думаю,— мы вас в другие края не роздали. Если придет нужда — опять вы на тракторах будете...» Как в воду глядела. Когда случилась война, мужчин мы полностью заменили.

Впрочем, этот разговор еще впереди.

Весной 1936 года сделала МТС смотр первой женской бригаде, и трактористки вышли на пахоту.

Работали мы в Шишовке. Поле изрезано балками. А обязательство взяли высокое — надо пахать и ночью. Вот я на одном склоне стану с фонарем, помощник — на другом, и светим, чтобы девчата с тракторами в овраг не свалились

Настроение было боевое.

1 Мая привязали к трубам букеты цветов, красные банты, пашем!

Полевую будку мы себе сами построили, покрыли железом. Сзади, в пристройке,— душ, наверху — бак.

Пол в будке желтый, как воск, мы его два раза в день с кирпичом мыли. Полки — как в вагоне. Под нижними устроены ящики, там все наше имущество: и девичий наряд и тракторные запасные части.

Верхние полки — подвесные, на крючках. Ночью те девушки, что сменились, лягут спать, и непременно кому-нибудь трактор снится.

Она начинает сцепление выжимать ногой, крючок отстегнет — и бух с полки.

Сторож, дед Максим, боялся внизу спать, говорил: «Задавите меня».

Работали дружно, с задором. Соревновались с мужской бригадой Тимофея Скорлупина из Бобровской МТС. Месяца полтора они впереди шли, потом нога в ногу, а к концу лета мы стали обгонять.

Пахать пар нас послали в Юдановку, на помощь молодым парням. Там колхозники тех трактористов на смех подняли: «Просите, хлопцы, пощады: девчата скоро у вас и под будкой вспашут!»

Мой брат Митрофан недавно вернулся из армии, задумал нас обучить стрелковому спорту.

Возьмешь винтовку — руки трясутся. А потом приловчились. Я из пятидесяти очков выбивала сорок восемь. Приехал работник Осоавиахима принимать нормы. Стали мы все ворошиловскими стрелками.

Тут за нас другие добровольческие общества взялись. «Вы, мол, такие люди, должны во всем быть впереди. Сдавайте на ГТО, на ГСО, на ПВХО». Мы рады стараться. Положим какую-нибудь Машу или Марусю на траву, забинтуем по всем правилам и таскаем вокруг будки. Возня, хохот.

Но, вижу, долго так не выдержать. Не спим совсем, на ходу спотыкаемся. Стала я этих представителей отваживать: «Хватит, — говорю, — и так все жакеты в значках, больше вешать некуда».

В сентябре в Шишовской МТС проведено областное совещание женских тракторных бригад. Матрена Федоровна выступила на нем с докладом, ее бригада к этому времени выработала по 1400 гектаров на каждый трактор.

— А после совещания мы опять «по коням», — вспоминает Тимашова. — У нас в будке была рация. На столе тетрадь, в ней нарастающим итогом: выработка, расход горючего, трудодни. Но в трудодни мы не так заглядывали, как в выработку.

Однажды посмотрела я, вижу — победа близка. Поехала в МТС, прошу радиотехника: «Иван Михайлович, подежурьте сегодня ночью, мы вам что-то скажем».

Ночью говорю ему по рации из нашей полевой будки: «Разбудите директора и заместителя по политчасти». И передала им рапорт: «Женская тракторная бригада выполнила свое обязательство — по 1600 гектаров на трактор есты!»

Потом мы еще до «белых мух» пахали, пока земля замерзла.

В феврале 1937 года на Всесоюзное совещание женских тракторных бригад поехала вся бригада в полном составе: Мария Панкова, Маруся Аристова, Маша Тринеева, Маня Костромина, Поля Калюкаева, Мотя Болычева и Мотя Тимашова — бригадир.

Секретарь комсомольской организации Василий Фролов немного раньше был вызван в ЦК комсомола, так что он прямо с одного совещания попал, с гостевым билетом, на другое.

В эти дни было много радости, много памятных на всю жизнь встреч. Особенно взволновала девушек беседа с Надеждой Константиновной Крупской, ее внимание и душевная ласка.

— Привели нас в комнату, — говорит Матрена Федоровна, — посадили вокруг стола. «С вами хочет побеседовать Надежда Константиновна».

Входит Крупская. Волосы белые-белые, зачесаны гладко, на макушке узлом свернуты. Лицом будто помоложе, чем на портретах, а фигурой постарше: полная и спину сутулит. Если бы шаль пуховую на плечи, ну, просто сельская учительница.

Но мы-то знаем, какой она человек. Все встали. Вижу, девчата мои совсем растерялись: та побледнела, та покраснела, платочек мнет.

Секретарь показал Надежде Константиновне на меня, что я бригадир, и фамилию назвал.

Она взяла мою руку двумя руками.

— Как же, как же, слыхала.

Стала я ее с девчатами знакомить. Дошел черед до Маши Тринеевой. Стоит — чернявая, как цыганочка, глаза голубые, румянец польхает. Сама дитя дитем, на семнадцатый год только переступила.

Надежда Константиновна интересуется, кто ее родители, как жили до колхоза.

Маша все молчит, платочек уронила и не нагнется поднять.

Надежда Константиновна говорит:

— А если бы вас Владимир Ильич спросил, вы бы и с ним так же молчали? Ничего не сказали бы?

Маша и брякни:

— Ему бы сказала.

И сразу лоб у нее мокрый, как в жнитво.

Крупская засмеялась:

— Ну вот. А мы все тут женщины, чего же нам друг друга робеть! Села на стул, приглашает всех поближе. Спрашивает, как начали работать на тракторах, не насмехались ли над нами.

Я рассказала, как нас пересмеивали. Это сама милость была, когда пошутят: «Заматаются ваши юбки в колесах». А комбинезоны надели — того хуже. Идешь по улице, вслед кричат: «Тю, из бабьего ума выжили, мужичьего не наживете».

— А вы? — спрашивает Надежда Константиновна.

Я говорю:

— Смотри кто шумит: если старый человек — смолчишь. А если парнишка, то держись! «Ты сам, Колька (или Федька), через дурака перерос, до умника не дорос!»

Надежда Константиновна развеселилась, одобряет, что мы такие бедовые — за себя постоять можем.

Стало нам с ней совсем просто. «Бедовые» осмелели. Рассказываем все подряд: что дельное, а что, может, и лишнее. Как к нам на пашню

кулачиха приходила яблоки на керосин менять. Мы яблоки взяли, а ведро налили водой, только сверху керосина плеснули. Не разобрала впотымах. Днем прибежала, ругается, комьями в трактор кидает.

И это Крупская выслушала со вниманием. Покачала головой, говорит будто самой себе: «Вот она — жизнь, вот она — борьба».

Тут Маша про своего отца рассказала. Его в двадцатом году белые в обозе угнали. По дороге приступают к нему, чтобы назвал своих сельских коммунистов. Иван Никифорович никого не выдал. Его раздели и повели в нательном белье на расстрел. Он убил конвойного и убежал. А дело было зимой, захворал крепко.

— Руки, ноги, голова — все тряслось,— говорит Маша.— Возили его по больницам и в дом для душевных больных. Врачи объясняют: «Он не умалишенный, у него нервы навек застужены».

Вспомнила Маша свою сиротскую беду при живом отце, пригорюнилась. Крупская ее пожалела, обласкала.

Опять сидим, беседуем. Надежда Константиновна рассказывает нам о Ленине. Мы ей свои обещания даем, как дальше будем работать.

Секретарь уже строго на нас поглядывает, должно быть, кончатся пора, а нам все расходиться не хочется.

На прощание сфотографировались вместе.

Первенство в соревновании завоевала бригада Паши Лядовской из Московской области. Бригада Тимашовой заняла второе место. Но так как пять бригад, в том числе и бригада Ангилиной, имели почти равные, отличные результаты, было присуждено пять первых премий.

15 сентября 1937 года Матрену Федоровну Тимашову назначили директором Шишовской МТС.

— Согласилась я на это с трудом,— говорит она. — Никак не могла представить, что буду сидеть не в поле на тракторе, а в кабинете, в директорском кресле.

Поле, оно манит. У нас Агриппина Рехина, старая трактористка, бывало, осенью разругается с мужчинами, говорит: «Больше ноги моей в бригаде не будет». А весной она раньше грачей на пашне. Мы смеемся: «Не выдержало сердце!» Она только дышит всей грудью да смотрит во все глаза, будто в первый раз: «Красота какая...» А уж трактор подаст голос, так он ей вроде жаворонка.

Вот и я такая. Работать мне было нетрудно: сильная, хоть и тоненькая. В гору бегу — нисколько не задохнусь. Трактор даже после перетяжки сама заводила. Правда, в эту осень мне все равно не пришлось бы пахать: родился ребенок.

Директор из меня получился не сразу. Долго во мне брал верх бригадир. Бывало, чуть солнышко на восходе, трактора становятся на заправку — я уже в поле. Засучиваю рукава, всюду лезу сама.

Какие бы ни были важнейшие дела в МТС: планы, отчеты, сметы, кредиты, — для меня ничего не существует, если в борозде хоть один трактор встал. Пока его не налажу, никаких вопросов решать не могу.

Ведь это теперь, если трактор чихнул не так, — его болезнь нам заранее известна. А тогда, случалось, стоит он, стоит, весь ржавчиной покроется, а в чем дело, никто ума не даст... Я пообещала, что в нашей комсомольской МТС таких простоев не будет.

Шишовскую МТС и впрямь можно было назвать в ту пору комсомольской: директор — член пленума обкома комсомола, агроном — член райкома, механик — член ревизионной комиссии и почти все трактористы — комсомольцы.

— Соберем собрание, такого грома наделаем — земля дрожит. И работали, как теперь целинники, — говорит Матрена Федоровна.

Но в ту весну горе постигло ее и Василия Михайловича: их маленький сын умер от осложнения после кори.

И еще прошло два года. Появился у Тимашовой опыт руководства большим, сложным хозяйством МТС. Материнская печаль сменилась новым материнским счастьем. И вдруг Матрена Федоровна сама попала в беду — заболела крупозным воспалением легких.

В больнице главврач сокрушенно развел руками: необходим рентген, а на электростанции что-то стряслось. Фролов помчался туда. Через час ток был дан.

Рентгеновский кабинет помещался на втором этаже. Василий Михайлович нес жену по лестнице на руках и слышал два сердца у себя в груди.

Будущее не приоткрывает нам свою завесу. Не знал Фролов, что четыре года спустя его самого, израненного, беспомощного, как ребенка, эта женщина будет нести на своих сильных руках.

Не знал и не мог знать. Сейчас в опасности была она, а значит, и сын.

Иссякло молоко в груди. Услышав об этом, женщины, лежавшие в родильном отделении, взяли к себе Владика... Сыну Моти было семь месяцев, он уже знал маму. С удивлением смотрел он каждый раз в новые глаза. Но грудь была теплая, материнская, и ребенок доверчиво припадал к ней.

У Моти был очень крепкий организм, он боролся, но, кажется, сдавал.

Анна Алексеевна, неотлучно дежурившая у постели дочери, потеряла надежду. Заливаясь слезами, она просила: «Дитя мое, скажи последнее словечко: в чем тебя положить?» Мотя открывала глаза, шептала упрямо: «Не хороните меня, мама» — и опять впадала в беспамятство.

Однажды ночью муж, сидевший возле нее, увидел, как вдруг стал белеть ее нос, потом белизна разлилась по щекам, по всему лицу.

Не помня себя, уже не боясь нарушить тишину, Василий Михайлович закричал:

— Доктор, доктор, она умирает! Она умерла...

Быстро вошел врач, положил больной руку на лоб. Через несколько мгновений его торжествующий голос возвестил:

— Вот теперь мы будем жить!

Это был кризис.

...Дышали спелым хлебом нивы, стрекотали комбайны. Звуки и ароматы полей летели к Матрене Федоровне в открытое окно.

Конечно, ей бывало и грустно. Хотелось встать и побежать туда, где по полю спелой пшеницы катятся янтарные волны, где гудит барабан молотилки комбайна, журчат цепи, шуршат транспортеры, стрекочут вентиляторы, зерно как живое бьется в брезентовом рукаве, наполняя бестарку. И растут, растут курганы пшеницы. А механизаторы, осыпанные половой, вытирают жаркий пот со лба.

Но в общем-то она была спокойна. МТС работала слаженно. А всюду, где возникает какая-нибудь заминка, там наверняка Фролов. Хорошо иметь надежного друга в жизни и в труде!

## ГОДЫ ИСПЫТАНИЙ И ПОБЕД

### 1

1941 год. Война.

— К осени большинство мужчин ушло на фронт, МТС обеднела людьми, — рассказывает Тимашова. — А работы столько же. На курсах трактористов обучили мы сто двадцать девушек. В районе шутили: «Матрена Федоровна выпустила свой инкубатор».

Но настоящие наши мучения начались весной. Тракторы отремонтированы, а заливать в них нечего. Куда только мы за горючим не метались: и в Колодезную, и в Таловую, и в Лиски. За счастье считали, когда привозили несколько бочек на быках. Один белый бычок у нас прямо рысью бегал.

Начался сев, трактора стоят, нигрола нигде нет. С попутной машиной поехала в Анну, на нефтебазу. Там пообещали помочь немного. Позвонила к себе, чтобы приехали с бочкой, а сама поехала обратно. Иду пешком. Оглянусь, вижу — за мной по дороге медленно движется какой-то человек. Я от него удаляюсь. Смотрю вправо — стожок, и под ним волк шарит, мышей ловит. Заметил меня и навстречу, то одной, то другой стороной грейдера. Я назад как рванусь, к тому дядьке. Волк остановился, затем потянул в лес... А человек все ближе. Пришли вдвоем в Верхнюю Тойду. Он, оказывается, был раненый в позвоночник, поэтому и отставал от меня.

Дальше опять иду без товарища. А уже ночь. Наткнешься — не

увидишь на что. Остановлюсь, прилягу на грейдер, послушаю — будто тархтят колеса.

И вдруг из темноты бык. Всматриваюсь — вроде наш, белый.

— Стой! Кто едет? Куда?

— За нигролом.— Голос этакий решительный.

Пригляделась — мальчишечка лет двенадцати. И едет один ночью... Жалко мне его стало. Парнишке сейчас бы третий сон видеть, а он как солдат в походе. Села к нему в повозку. Возвращаюсь в Анну.

Женщинам также приходилось трудно. Раз шофер Нюся Пономарева поехала за горючим на полуторке. В дороге застал ее дождь. Машина сползла в лог, а выбраться не может, буксует. И ни тебе соломы, ни щепок — подложить под колеса.

Вспомнила Нюся, что недалеко от лога стоял дорожный каток. Пошла к тому месту поискать что-нибудь. И впрямь каток, а в нем, внутри... сухая земля!

Тогда сняла Нюся фуфайку, кофту, стащила с себя рубаху исподнюю, завязала ее мешком, оделась и давай выгребать ту землю да подсыпать под машину.

Вот и хлеб поспел, время убирать. Первого июля мы с бригадиром Владимиром Тринеевым собрались в Воронеж. Едем, мечтаем — не подкинут ли нам запасных частей к комбайнам. Дело к вечеру. Гляжу, за нами что-то никого нет, а навстречу много всякого люда. Бомбежка все слышней.

В Новой Усмани остановились воды напиться, женщина говорит:

— Куда вас нелегкая несет? Смерти себе ищите!

Мы это во внимание не берем, на уме одно — запчасти...

Через Чернавский мост нас не пустили, там людьми все забито — уходят. Нас направляют в объезд. Мы насажали полную машину женщин с детьми, стариков, отвезли их километра за два. Они и тому рады: уже не прямо под бомбами, уже тыл.

Заночевали мы на левом берегу. Утром упросили все-таки военных пропустить нас в город по Вогрэсовскому мосту.

Но в областной земельный отдел мы так и не попали: все кругом горело. Страшно горел завод имени Ленина. Кольцовская улица занялась сразу в нескольких местах.

Когда пробивались назад через огонь, резина на машине полопалась. Тянулись до дома на ободьях.

7 июля 1942 года тронулась в путь наша МТС. Семьи были отправлены раньше на подводах.

Тракторы шли колонной: тридцать шесть ХТЗ, пятнадцать «Универсалов», два гусеничных. Комбайны был приказ оставить на месте, но все, что с них можно было снять, мы сняли и закопали.

МТС не только машины, механизмы, это и кадры.



А если эти кадры — девчата и уведишь их от родного крыльца, ох как трудно, чтобы они не оглядывались назад. Пришлось быть сразу и директором, и политруком, и матерью, и судьей, и даже... военной цензурой.

Когда уже остановились в Архангельском районе, придет кому письмо, я его сначала сама прочитаю. Если все в порядке, зовешь девчонку: «Ну, Варюха, пляши!»

Но бывало и такое:

«Милая дочушка, на кого же ты меня покинула, не глядела бы я на белый свет, расступись подо мной сыра земля. Да неужто твои железки дороже тебе родной матери?»

Это письмо прячу подальше.

А ту, кому оно написано, ищу, за что бы похвалить. Обтерла она трактор чисто, мимо не проходишь: «Смотрите, как Таня машину бережет! Надо брату на фронт написать!» Тут у Тани гордость появляется, хочет еще лучше сделать.

Спустя время нестрашно и материну слезницу ей отдать. Она сама сумеет ответить. Только, может, вздохнет: «Как шло долго...»

Нас было больше ста человек. Еще в пути встал вопрос: чем кормить?

Двигались тракторы, пылили гурты колхозного скота. Как-то вол сломал ногу, неожиданно у механизаторов был сытный обед.

В селе Рубашевке мы решили задержаться и поработать. Впервые за многие годы колхоз убирал урожай вручную. Людей не хватало, председатель обрадовался пополнению.

Вышли в поле с косами, хоть и странно было с непривычки. Вязали снопы, складывали в «крестцы», как бывало в старой деревне. Колхоз кормил.

Вскоре стало слышно, что у Дона немцев остановили.

Неизвестность о судьбе близких тяжестью лежала на душе Матрены Федоровны. Василий Михайлович уже год был в действующей армии. Он писал в Шишовку. Теперь же связь с ним оборвалась. Трехлетнего Владика с няней отправили вместе с другими семьями. Все они затерялись в потоке эвакуированных.

Выходя с тракторами из Шишовки, работники МТС были уверены, что они нагонят повозки с семьями. Однако ни в Хреновском, ни в Чигольском, ни в Архангельском районах не удалось напасть даже на их след. Тимашова посылала гонцов по селам, ездила сама — все тщетно. Только через полтора месяца дошел слух, будто бы их видели у станции Народной, в селе Поповка. Поехали туда.

— Село под горой, — вспоминает Матрена Федоровна. — Эвакуированных море. Вся округа заставлена кибитками. Механик Артемьев на лошади ездит по лагерю, смотрит, нет ли наших, я пешком хожу.

Выбилась из сил, упала духом. Вдруг сзади стук, скачет наш комбайнер верхом и рукой мне на лес показывает. Оттуда к нам навстречу няня с Владиком. Он ручонки протянул: «Мама, не плачь. Мы живы».

Забрали семью, отправили домой, в Шишовку.

После Матрена Федоровна узнала, что в один из тех дней, когда Владик был в лагере возле Народной, отец, направляясь на фронт, проезжал эту станцию.

Няня, Акулина Федоровна, заменившая ребенку мать в трудные и страшные дни, укрывавшая его своим телом при бомбежках, навсегда осталась в доме как член семьи.

...Тимашова получила распоряжение направить несколько тракторов обратно в свой район на осенний сев.

Прибыли в Шишовку десять тракторов.

— Вот радость была народу! — вспоминает Матрена Федоровна. — Бегут, встречают: «Наша МТС вернулась! Наша МТС вернулась!»

Всех подряд исцеловали.

Спокойнее стало на душе и у тех женщин, чьи дочери еще оставались с машинами в Архангельском районе. Поверили, что разлука не навек.

Но сеяли в ту осень... из лукошка. Пришлось потрудиться дедам — молодые не сумели бы. А тракторы стояли как вкопанные: горячего не было.

Зимой поступило указание полностью восстановить МТС в Шишовке. По глубокому снегу идти свои ходом колесные тракторы не могли, пришлось их «перебрасывать». Легкое слово, вроде как в мяч играть. Да мяч-то тяжелехонек!

Механизаторы построили специальные платформы на полозьях. И два гусеничных трактора стали перевозить «удики» и ХТЗ.

Всего пути — каких-нибудь семьдесят километров, а первую партию десять дней тащили. Выехали из Рубашевки, месяц — тоненький серпочек, только народился, а домой приползли — он почти в колесо.

Так и делали рейс за рейсом, пока не переправили.

В Шишовке мастерская МТС была занята ремонтной базой танковой части.

Но тракторы тоже надо было готовить «к бою». Устроили временную мастерскую в пустующем коровнике.

Вот тут и пришла пора поднять «старую гвардию» — трактористок тридцатых годов. Семейные женщины, матери нескольких детей, а иные уже и вдовы, стали опорой МТС. Они были механиками, бригадирами, учили молодых.

Брата моего Митрошу призвали в армию еще в октябре 1941 года. Они с Машей Тринеевой уже четыре года были женаты. Девочка у них Рая, а вторым Маша была беременна. И в ту же зиму от грудного ребенка она вышла на ремонт тракторов.

Однажды захожу к ней в хату, она, видно, только что прибежала кормить, руки как железные, настыли, боится до ребенка дотронуться. Рая вынула Шурика из люльки, перевила его и кладет матери к груди. Вот так нянька — от земли не видно...

Маша была бригадиром. А во время ремонта у бригадиров главная работа — запасные части.

— Когда вернулась из эвакуации, — говорит Тимашова, — поставщиком запасных частей был у нас Коротояк...

Говорит просто, как о базе «Сельхозснаба». Но в глазах будто отсветы пожара.

Да, мы, воронежцы, знаем, что было на переправе через Дон в Коротояке! Некоторым из нас пришлось видеть огромный могильник искореженной техники...

Вот этот страшный железный курган и стал базой нескольких МТС.

— Мы ездили туда на быках, — рассказывает Матрена Федорвна, — отвинчивали части с разбитых машин и ремонтировали трактора.

В первый раз приехали, думали, заблудились: местность вроде та самая, а Коротояка нет.

Котловина между холмами, где столько домов было, замечена снегом. На пригорке немецкое кладбище, березовые кресты и каски. Едем целиком по снегу, сдается, улица была, трубы кое-где торчат из сугробов. А навстречу не то что человеческой души — ни собаки, ни кошки.

Тут стали попадаться подорванные машины. Все больше и больше. Та дыбом встала в сугробе, та вверх колесами.

Вдруг видим — трактор. Капот обледенел, внутри снегом забит. А на руле... руки вытаяли, в немецких обшлагах.

Так нам нехорошо стало.

Я говорю механику:

— Поедем дальше.

А он от злости сам не свой. Изругался и достает инструмент.

— Нет, — говорит, — мы его на посевную не звали. Что ж теперь из-за него добру пропадать.

Расшплевывал кронштейн, снял вентилятор.

В этот раз мы были на лошади. Много набрали пригодных частей, наша кляча еле везет.

Весной, когда сошел снег, открылось еще больше страшного. Люди, сгоревшие в машинах, люди, разорванные на куски, орудия, танки, тракторы, все побито, все в кучу смешано.

Коротояк — сплошное пепелище. А жители возвращаются, горе горюют, а руками воюют: хатки-временки себе лепят.

Как-то в самое половодье поехали мы с Машей Тринеевой и с Мотей Болычевой. Там много тракторов у самой переправы было бомбежкой застигнуто. Какой совсем в Дон въехал, какой только уткнулся:

колеса висят, мотор в воде. Мы подъезжали на лодке, отвергивали головки блоков. Они пробитые, простреленные, да ведь целых-то негде взять. Надеемся, починим.

Потом в лес пошли, нет ли там чего. Смотрим, лежит мертвый, шинелью накрыт. Наш ли, немец — понять нельзя, он уже мохом порос. Наплакались мы над ним.

У всех у нас мужья были на фронте. Подруги мои — Мотя и Маша — не дождались своих. Так и не увидел Шурик отца.

Есть в народе песня:

Накрытый серой шинелью,  
Красный боец помирал...

Теперь, как услышим ее, так сердце заходится: вспоминаем тот лесок.

## 2

...В апреле 1943 года капитан Фролов, переведенный в другую воинскую часть, проездом побывал дома.

Слышно было, что эта часть стоит в слободе Масловке, близ Воронежа. В середине мая Матрене Федоровне представился случай съездить туда с попутной машиной.

— Сошла с машины, где сказал шофер, иду по улице босиком. Вся в пыли. В руке узелок с гостинцами: яички, рыба жареная. Смотрю: возле домов какие-то елки воткнуты, ветки сухие и все уже повалились. «Значит, — думаю, — снята маскировка — опоздала я». Так и вышло. Еще 30 апреля часть двинули в район жаркой схватки — на Курскую дугу.

Четыре месяца подавал Василий Михайлович о себе хоть короткие весточки, а к осени замолчал.

Матрена Федоровна жила в нарастающей тревоге. Однажды она возвратилась с работы домой, и, как всегда, первый вопрос: «Письма нет?» Хозяйка избы, где стояли на квартире, прижалась к печи, будто хочет в нее врасти: «Есть...»

Схватила Матрена Федоровна измятый треугольник, развернула. — Читаю прямо с середины, — вспоминает она. — «...30 сентября при форсировании Днепра под Кременчугом оторвало левую...» А что «левую» — понять нельзя, бумага на сгибе протерлась. Как будто окончание «ку». Решила, что руку.

Через несколько дней получаю письмо уже от медсестры. Пишет: «Положение с ногой улучшается». Значит, думаю... и руку и ногу.

А где он, неизвестно, видимо, в прифронтовом госпитале. И вдруг на Октябрьские дни телеграмма: «Нахожусь в Острогожске». Оказалось, их отправляли в глухой тыл, а он упросил ссадить его по пути. Не хотел уезжать из своей области, надеялся добраться до дома.

Поехала жена в Острогжск.

— Ввели меня в палату,— рассказывает Матрена Федоровна.— Лежит он — кости и кожа. Родной человек, а не узнать. Одни глаза. При мне перевязку стали делать. Тут и увидела: руки целы, а нога...

Положила ему руку на грудь. И кажется — под кожей что-то хрустит, как снег.

Чтобы перевезти его в Бобров, надо было подать рапорт в управление госпиталей. Приехала я еще через две недели — разрешение есть.

Отдали ему шинель, а в нее таких, как он стал, можно двух завернуть. Дали ботинок... один. Он взял, подержал в руках и бросил, с таким горем.

Как мы его живым довели, не знаю.

Дождь, грязь, распутица. Машина то в кювет ползет, то в яму садится. Со мной было два механика. Нашли мы железную трубу, поддевали ее под полуоси и вытаскивали машину. От Лисок немного подморозило.

Дома положила я его на кровать, развернула ногу, чтобы она отдыхала. Механики, его старые товарищи, посмотрели и заплакали.

Весной, когда он был в отпуске, Владик веселился, прыгал, отдавал ему честь. А теперь подошел к постели и так тяжело вздохнул, будто взрослый.

Стала я его купать, культя задрожала, и я вся дрожу. Он одно просит:

— Мотя, отвернись. Мотя, не гляди.

А я уже духом окрепла. Нет, думаю, нельзя отворачиваться, надо привыкать.

Положили его в госпиталь в Боброве. Приехала проведать, говорят — кровохарканье открылось. Тут я его на рентген носила. Врач посмотрел: у него от удара в грудную клетку ребра крест-накрест и плевра нарушена. Поэтому и кровохарканье было, а легкие чистые. Хоть одной бедой меньше!

...Шло время, затягивалась, заживала рана. Можно стало ходить на протезе. Владик похвастал ребятам во дворе:

— У моего папы опять настоящая нога.

— А костыли куда же? — заинтересовались товарищи.

— Я их на дровосеке порублю и в печке сожгу, — заявил мальчик.

В марте Фролов уже работал в Боброве заведующим районным земельным отделом, потом секретарем райкома партии по кадрам. Но любимым его делом всегда была техника. Да и какая это жизнь — на два дома. Ему пошли навстречу, направили в МТС. Здесь он заведовал мастерской, работал главным инженером.

Конечно, не все это так просто было, как теперь пишется и рассказывается.

Нелегко человеку, bravому удалцу, оказаться инвалидом.

— Однажды пришла домой, на столе пол-литра, осталось на донышке, а он не поет, а как-то приговаривает страшную изуродованную частушку:

Хорошо тому живется,  
У кого одна нога...

Увидел меня.

— Мотя, жена моя, красавица, умница, прощай...

Я душой обмерла, а говорю строго:

— Далеко ли это ты, Василий Михалыч, собрался? И надолго ли?

— Отпусти меня. Не пара я тебе теперь. Не хочу тебе жизнь загораживать.

И так я по-бабьи испугалась: как же я останусь? Всегда он мне был советчиком и опорой.

А он будто прочитал мои мысли и на них отвечает:

— Ты на своих ногах твердо стоишь. Мой костыль тебе не подпора.

Тут и ругала его и уговаривала, и сама чуть не без памяти.

— А сын? Сына как делить будем? Подумай об этом.

Больше такого разговора у нас никогда не было.

### 3

В одну из поездок по тракторным бригадам Матрена Федоровна рассказала:

— Зимой сорок шестого года ремонт проходил еще в очень трудных условиях. В гильзы от миномета нальем керосина, вставим тряпичные фитили и освещаем мастерскую. Кому надо поярче, на проволоку наматает паклю, окунет в мазут и работает при факелах. Дым, копоть. Одна старушка пришла к сыну, испугалась: «Вот он где ад!» А сын засмеялся, говорит: «Нет, мама, когда я в танке горел, там, точно, жарко было. А тут у нас рай. Скоро цветочки зацветут».

И правда, после фронта какие трудности могли людей устроить! Наскучались по своему делу.

К женщинам мужчины стали внимательней, заботливей. Никак не давали поднимать тяжелое. «Вам, — говорят, — неподсильно». Иной раз и сама удивляешься: неужели это мы были в Коротояке? Гусеницы с подбитых танков на себе тросом тащили. Головку блока, случалось, в одиночку ворочали, а в ней 70 килограммов!

Выходит, «рай» наступил и для них и для нас.

И такое в нашем дымном и чадном раю поднялось соревнование, что тракторы, как с конвейера, из мастерской выскакивали. По сводкам стало видно, что наша МТС закончит ремонт первой в области.

Меня вызвали в обком. Сидит завсельхозотделом и еще один товарищ, я его узнала, в редакции видела. Он спрашивает:

— Вы, кажется, перешли на узловой метод?

Досадно мне стало, что он со слов думает статью писать, отвечаю:  
— Когда корреспондентам «кажется» — много в газете опечаток бывает (хотелось сказать — вранья, да постеснялась, все-таки в обкоме сидим). Приезжайте,— говорю,— поглядите.

Он еще вопрос:

— Верно ли, что в вашей мастерской...

Я даже не дослушала:

— У меня мастерской нет, есть мастерская Шишовской МТС.

Завотделом усмехнулся:

— Что-то сегодня, Тимашова, такая наперченная?

Я говорю:

— От работы оторвали, а видать, без особой надобности.

Он опять усмехнулся:

— Ну, извини, пожалуйста, долго тебя не задержим. Заполни вот анкету и автобиографию напиши, есть указание личные дела наново завести.

Уехала... и не догадалась.

Прошло сколько-то времени, вдруг слышу по радио:

— Кандидат в депутаты Верховного Совета...

Меня так жаром и обдало. И радостно и страшно. В одну ночь снова прожила всю свою жизнь. И три бабушкины «награды» вспомнила. И мамины руки, тоже все в узлах от ревматизма. И как нам в Москве Надежда Константиновна сказала: «Советская женщина — хозяйка своей судьбы».

Василия Михайловича дома не было. Он в соседний район поехал на сахарный завод, какой-то станок ему обещали, списанный для мастерской. Кому — негоже, а нам подай боже. У нас такие профессора — любой механизм из мертвых воскрешали.

Вот лежу бессонно. Вспомнила, как отказывалась быть директором. Боялась — не охвачу... А депутату сколько надо охватить!

...Начались встречи с избирателями. В пяти районах ездила почти в каждое село. Даже в мыслях представить не могла такого множества: женщины с грудными детьми, старики, что по десяти лет с печи не слезали, ну все, все жители, до единого.

В селлах, где оккупанты побывали, не то что клубов — и сараев не осталось. Митинги проводили прямо на улице. Мороз. А стоят без шапок. Тут и слезы, и надежды, и своих погибших близких вспомнили. Такое народное переживание.

Военное горе не скоро избудешь, но и то правда — живой о живом думает. И уже просят меня люди, просят как Советскую власть — помочь открыть школу, похлопотать насчет ссуды для колхоза, обратиться в воинскую часть, а то опять на поле взорвалась мина — трактористы пахать боятся.

Тут меня удивление взяло. Неужели в селе нет своих демобилизованных саперов? Или кто отвоевался, думает — теперь его хата с краю? Поговорили об этом. Нашлись добровольцы.

Поехала к нам в МТС. Мастерские из фанерных щитов, живут люди в куренях, покрытых будьяльями подсолнуха. Но храбрятся: тракторный парк себе уже сколотили, прямо сказать — из ничего. Мы против них богачи. Сгоряча пообещала поделиться кой-каким дефицитом. Потом и жалковато стало, и, думаю, заведующий мастерской, Василь Михалыч, обязательно подденет. «Ты,— скажет,— товарищ кандидат, пока округ объездишь, всю Шишовскую МТС раздаришь». Ну, ладно, говорю себе: давши слово — держись, а в другой раз — крепись. Побеседовали с трактористами о мерах предосторожности при пахоте. Может, это и не относится к депутатству? Но тогда все относилось.

В этих разоренных селах меня особенно трогало, как люди старались празднично встретить выборы. В избирательном участке и пол-то земляной, но уж выбелена эта хатка и внутри и снаружи вся плакатами наряжена.

Совсем особенный был митинг в Коршеве. Шла я на него с замиранием духа. Тут ведь доверенному лицу прямо-таки делать нечего. Начнет, думаю, рассказывать, как я кулацких гусей пасла. А дед Иван, с береговой улицы, встанет и пояснит: «Как же, как же — помним. Особливо как Мотья тех гусей упустила. Они, проклятые, на моем огороде капустную рассаду в прах выщипали...» Зайдет речь о тракторной бригаде, тут какой-нибудь давних лет прицепщик, теперь бородатый колхозник, выскажется: «Ругались с ней до хрипоты». И ведь было, было — не откажешься!

В соседской жизни, в совместной работе чего только не бывает. И справедливые друг другу резоны, и пустяшные обиды, и деловые споры, и раздоры через несходство характеров. Всего наберется за долгие годы. А вдруг, думаю, посыплется всякий мусор, как из худого мешка. Вот стыд будет!

Но стыд мне пришлось пережить не от людей, а от самой себя за эти свои мысли.

Такая радость, такое торжество было в селе, будто каждый награду получил.

Что говорили на митинге, от волнения почти не слышала. Чувствую — все хорошо, от чистого сердца. Под конец дед Иван взял мою руку:

— Мотя, дочка... дочь крестьянская...

И сам больше ни слова не выговорит, и я ничего ответить не могу. Обняла его, шепчу несуразное:

— Прости, дедушка, я с девчонками в «красочки» заигралась. — Это у меня все гуси на памяти. А небось и перина из того пуха давно истлела...

Большие митинги были на промышленных предприятиях: на Евдаковском жиркомбинате, в Лисках, в паровозном депо. Тут рабочий класс. Подробности жизни уже иные, и задачи тоже.



Опять думаю: как много надо охватить! Но боязни прежней нет. Встречи с избирателями меня как на крыльях подняли.

Первый послевоенный созыв начался тяжело. Хозяйство и так еще не налаженное, а тут стихия нас обездолила — засуха.

Множество людей шли в Советы и прямо к депутатам со своими личными невзгодами. Правительство отпустило продовольственную ссуду. Очень зорко надо было смотреть, чтобы каждый килограмм попал кому надо, чтобы не поживился за счет чужой беды какой-нибудь ловкач.

Много было еще порушенных войной семей, одиноких стариков, солдатских сирот. Казалось бы, куда проще: зачислил всех подряд на социальное обеспечение. Но это как раз та простота, что по русской пословице хуже воровства. Государственный карман не бездонный.

И вот разберешься с делом, найдешь выход на месте. Если подростку лет одиннадцать-двенадцать, зачем его направлять в детский дом? Его колхоз берет под опеку, а там пошел паренек в прицепщики, не заметишь, как и тракторист вырос.

Щедрый 1947 год помог окрепнуть колхозам. Каждый дождик был словно по заказу, вовремя. Хорошо налились хлеба. Но «урожай-то урожай, а сам соображай», люди это понимали, трудились дружно.

В тот год только по Шишовской МТС тридцать пять механизаторов получили правительственные награды. Бригадирам Новикову и Рубцову было присвоено звание Героев Социалистического Труда. Тимашову наградили орденом Ленина.

Когда советские органы на местах пополнились кадрами, улучшили свою работу, меньше жалоб стала приносить почта депутату Верховного Совета.

Но появились другие заботы. Ливнем хлынули просьбы помочь со строительными материалами. «Лес, лес, лес... вагоны для перевозки леса... кирпич, шифер, черепица...» Теперь в этом самая насущная нужда. Строят новые дома колхозники, строят колхозы фермы и зернохранилища, кинотеатры и родильные дома.

Когда растет страна, люди растут вместе с ней. В 1950 году Матрена Федоровна стала заочницей сельскохозяйственного техникума, а в 1955 году успешно окончила его, получив звание агронома.

«Сколько работы, охвачу ли?» — спрашивала себя в ответственные моменты своей жизни Матрена Федоровна. А жизнь все шире раздвигает горизонты перед крестьянской дочерью, ставит все новые и новые задачи.

Депутат Тимашова шесть раз в составе сельскохозяйственных и парламентских делегаций выезжала в зарубежные страны.

Не однажды побывали экскурсанты из демократических стран в Шишовке.

## КРУТОЙ ПОДЪЕМ

### 1

Мы с Тимашовой на молочнотоварной ферме.

Скоро начнется обеденная дойка. Скотники, гремя люльками подвесной дороги, развозят корм. Доярки раскладывают его по яслям.

Погода теплая, коровы пока в открытом загоне.

Женщина средних лет, в халате — нет, не в белом, в синем рабочем халате, надетом поверх ватника, — распахивает ворота загона.

— Якимовы! — говорит она звонко. — Пожалуйста. Кушать подаю.

Шесть коров, расталкивая другия, выходят из стада и цепочкой направляются к коровнику.

— Якимовы! — повторяет женщина. — Долго вас приглашать?

Еще пять коров присоединяются к процессии.

Я смотрю на это во все глаза, как на фокус. А Матрена Федоровна, которой, конечно, такое не в новинку, от души потешается над моим удивлением. Насмеявшись, она подводит меня к доярке. Мы знакомимся.

— Настасья Николаевна, — говорит женщина и больше ничего не добавляет.

Все еще под впечатлением виденного, я невольно настраиваюсь на шустрый лад.

— Дрессированные у вас буренки. Вы бы звонком их скликали.

— А зачем звонком, когда они слово понимают?

— Неудобно все-таки... скотину — по фамилии.

— Я скотину и не зову, — отшучивается доярка, — а это коровушки-любущки. Имена у них свои, а фамилия у всех моя. Они ее не уронят.

Коровушки-любущки не блещут породой. О таких справедливо говорят: «Одна красная, другая пегая, третья серо-буро-малиновая». Но Матрена Федоровна уже успела шепнуть мне, что Якимова надоила от них без малого по три тысячи литров, и мы смотрим на них благосклонно.

— Гляньте: Милка, — взывает к нам Якимова. — Крупней ее во всем стаде нет. Ребята ее прозвали Комбайн.

Огромная, даже какая-то громоздкая корова не идет, а шествует.

Она и впрямь неожиданно напоминает мне комбайн. Но разве большой рост — достоинство коровы? Впрочем, послушаем Настасью Николаевну.

— Корму ей только подавай, так и молотит, так и молотит. Но зато и продукцию отдаст. Посуда-то, гляньте, — есть в чем двадцать литров таскать!

Посудой на своем профессиональном языке доярки называют вымя коровы. Что ж, по этой части к Милке не придерешься.

— Раньше в деревне говорили: «Коровенка с кошку — надоишь ложку», — рассуждает Настасья Николаевна. — Я пока в этом старинного мнения придерживаюсь. Люблю видных коров! Когда породу заведем, может, и пословица переменится...

Мимо нас проходит Кучерявка — «вся шерсть волнами, как из парикмахерской», Булка — «пышная, сдобная, а уж смирна — не шевельнется...».

Словом, в каждой Настасья Николаевна видит ее особую статью: в той — ум, в той — красоту, в той — покладистый характер. Но есть у всех у них один общий и самый важный «талант» — хорошо раздаиваются.

— Перспективная группа, — говорит Тимашова, и на лице Настасьи Николаевны проступает румянец удовольствия.

Такая похвала ценится здесь высоко. Оно и понятно. Сказать хорошая или отличная — это аттестация на сегодняшний день. А перспективная — значит, лучшее еще впереди.

И вдруг я начинаю испытывать запоздалое раскаяние. Как это у меня неуважительно получилось насчет... фамилии. И что значит — неудобно? Кому неудобно? Вот ей, Якимовой, удобно!

Эти кучерявки и милки — предмет ее любви и забот, можно сказать — создание ее рук. Она гордится ими и, как марку фирмы, присваивает им свою фамилию!

## 2

Глубокая осень. Ноябрь.

Только что окончился совет МТС. Председатели колхозов, бригадиры покуривают возле клуба, шоферы заводят машины. Мы с Матреной Федоровной идем по саду.

— Давайте не говорить и не думать, а только дышать, — предлагает она.

— А смотреть можно? — спрашиваю я в шутку.

— Ну, смотреть, пожалуй... Да вы небось уже с закрытыми глазами все у нас знаете.

Но разве можно все узнать, когда каждый день приносит новое!

Несколько месяцев назад, глядя на выщербленные буквы на памятнике погибшим коммунарам, я с грустью думала, что время стирает даже такие страницы жизни, какие следовало бы хранить вечно, передавать от поколения к поколению.

И вот в канун сорокалетия Октября я увидела памятник заново облицованным, с зелеными венками у постамента. Но это еще не самое важное. Взволновала меня встреча с комсомольцем Сашей. Девятиклассник Саша (дома его еще зовут детским именем — Шурик), сын

павшего воина Митрофана Тимашова и трактористки Маши Триневой, блестя глазами, рассказал мне, что он вместе с четырьмя товарищами пишет историю села Коршева. Да, да, придумал это их школьный учитель Михаил Васильевич Ежов. Они начали с коллективизации и уже написали целую главу, а потом почуствовали, что нельзя обойти и более давнее. Тут в 1906 году, оказывается, был марксистский кружок, руководил им Шарапов, которого после убили кулаки. Так вот, скоро ребята пойдут на лесной кордон к вдове Шараповой, уж что-нибудь она да помнит, и, говорят, у нее уцелели фотографии.

Значит, думаю я, летопись борьбы будет восстановлена и сохранена в потомстве. Но не в музейной нетленности значение истории. Самое главное: тот, кто знает день вчерашний, больше ценит сегодняшний.

Теперь снова мы с Тимашовой стоим на взгорье. Лес вдаль — сквозной, словно нарисован пером. Все окутано легкой дымкой. Проглянет на миг скупое осеннее солнце, выхватит группу деревьев, мысок берега, и они оживут, заиграют красками.

Склон холма покрыт засохшим бурьяном и кое-где мелкой зеленой травкой, выросшей после осенних дождей. Кусты боярышника рубиново-красные, все в ягодах. Матрена Федоровна делает несколько шагов, и с ближнего куста шумно взлетает стая воробьев.

Мы спускаемся по тропинке. Внизу, на размокшей дороге, отпечатки колес, резиновых шин, гусениц. По ним, словно по следам на снегу, можно читать, кто тут был. Одни отпечатки как ячейки сот, другие — крупные, глубокие, как вырезанные.

Я жду, что скажет Матрена Федоровна.

— Бригада Новикова корма подвозила, — угадывает она.

Впрочем, для этого не надо быть следопытом. Дорога-то ведет на Большую Поляну. Вот и клочки сена зацепились за ветку дерева...

Можно, конечно, условиться отдыхать молча, но не думать — нет, нельзя. И Матрена Федоровна думает небось о том же самом. Ну, ладно, не будем нарушать уговор и лесную тишину.

...С 1937 года Матрена Федоровна была директором машинно-тракторной станции. 31 марта 1958 года на сессии Верховного Совета депутат Тимашова проголосовала за реорганизацию МТС. Она стала председателем крупного колхоза, объединившего села Шишовку и Чесменку. А лучшей оценкой того большого, что сделала МТС за двадцать лет, была «тяжба» колхозов за кадры, ею выращенные. Механизаторам доверили многие ответственные участки в колхозах.

...Но это я опять далеко опередила события. Возвратимся к осеннему вечеру, когда мы с Тимашовой брели по лесу.

Тишина в лесу, только листья шуршат под ногами. Крупные резные листья дуба. Они недавно опали и лежат сугробами, не желтые, а розовые, должно быть, от заходящего солнца.

Вода в реке течет лениво и чуть рябит. У берега в реке тоже дубовые

листья, задержанные камышом, а между ними крапинки болотной ряски. Такой узор — будто его придумал художник. Все краски блеклые, притушенные, и лишь дрязняще зеленеет маленький островок осоки.

А сколько белых лилий было здесь в июне! Войди в воду по щиколотку — и рви. Знаю, для реки это плохо, зарастает река, но уж очень красиво!

В лесу в то время царила липа. Она заслонила даже великаны дубы, всюду простерла свои мохнатые от пчел и цветов ветки. Лес дышал медом, гудел, как улей. Как не вспомнить: вот в таких лесах наши предки занимались бортничеством — добыванием меда диких пчел.

Не заметив, что нарушаю уговор молчания, я сказала что-то о древности, веющей от этого леса, о пчелах, о бобрах.

Матрена Федоровна не ответила, казалось, ей действительно хочется отрешиться от всего, отдохнуть.

Но спустя несколько минут она сама стала рассказывать мне... про пчел.

В 1942 году, летом, когда фронт подступал уже сюда, колхоз лишился пасеки. В суতোлке эвакуации порушили ее чьи-то злые руки. Ульи валялись разбитые, а пчелы «пропали без вести».

К весне МТС возвратилась на свою усадьбу.

— Я вошла в дом, — говорит Тимашова, — где до войны была контора. Стекла повыбиты, а в окна пчелы то и дело — жик-жик. Я не придавала значения, послала девчат сделать уборку. Они принялись мыть полы. Сама снаружи осматриваю, какой нужен ремонт. Вдруг крик, визг, я даже перепугалась: что такое? Девушки как шальные выскочили из дома, тряпками машут. У меня сразу от души отлегло: не мина, не бомба — пчелы.

Собрались зрители, дают советы пострадавшим. Хочешь плачь, хочешь смейся. Какой-то храбрец, расследовав происшествие, докладывает: пчелы в подполье, и много. Если надеть мешок на голову, а на руки шоферские перчатки, можно выломать соты.

Тут откуда ни возьмись старичок, говорит:

— Мед ломать и медведь умеет. Но, между прочим, эта пчелка наша, колхозная. Не троньте. Мы ее вместе с маткой пересадим в улей.

Те, кому меду захотелось, спорят:

— Почему — ваша, на ней клейма нет.

Дедушка их совестит, убеждает, что пчела «потерпевшая» — ее сюда загнала война.

Слово за слово, пошел разговор, много ли корысти колхозу в одном улье и, если пчелы не погибли, где же остальные?

— В лес подались, в партизаны, — говорит старик. — Но мы их скличем!

Так и возродилось в колхозе пчеловодство.

Матрена Федоровна приумолкла, идет береговой тропкой. Меня уже не тянет вспоминать о седой старине, о первых поселенцах здешних мест и их древних промыслах. Совсем иные думы. Война, война, сколько она принесла разорения!.. Сколько пришлось начинать заново!

У изгиба реки небольшой овражек. Вот он открылся перед нами. Оказывается, мы в лесу не одни.

Внизу стоит полуторка с опущенным бортом. Два парня и раскрасневшаяся молодлица швыряют в нее песок — только лопаты мелькают.

— Когда, Ваня, новоселье? — спрашивает Тимашова, поздоровавшись.

— Осталась наружная штукатурка, — отвечает один из парней. — Садитесь, Матрена Федоровна, подвезем на горку-то. Здесь крутой подъем.

— Мы, может, и не отказались бы, — серьезно говорит Матрена Федоровна, а в глазах смехок. — Да не хотим тебя в затруднительное положение ставить. Кого же ты в кабину посадишь: директора, писателя или молодую жену?

Вот лукавая женщина! Умеет задорным словом поставить человека в тупик.

Но она недолго подтрунивает и тут же говорит, что мы еще побродим. А в сущности-то возвращаться пора. Василий Михайлович ждет нас ужинать.

И едва машина скрывается за деревьями, мы тоже поворачиваем в обратный путь.

— Комбайнер наш. Строится, — коротко говорит Матрена Федоровна. — Женился недавно.

Опять идем молча, наслаждаясь тихой красотой осени.

У меня перед глазами какое-то радужное цветение. Ах, да, свадьба! Вчера в Коршеве было шесть свадеб.

Я зашла к Марии Ивановне Тринеевой и не застала ее дома.

— У чеботаря, набойки мне подбивает, — объяснила ее пышущая здоровьем дочь Рая, — чтобы смело плясать:

Как топну ногой  
Да притопну другой...

Вторая девушка подхватывает:

Да всеми ногами сразу...

Изба полна молодежи. Юный историк — Шурик открыл материн сундук. Из сундука вылетают старинные наряды: юбка зеленая, юбка вишневая атласная, золотистая кофточка, мужская рубаша с вышивкой.

Что же это тут затевается?

Входит Мария Ивановна (ее все еще хочется звать Машей: стройная, и румянец не угас). Я жду, что она станет бранить сына за учиненный разгром, но она озабоченно спрашивает: «Все нашли?» — и вынимает еще охапку чего-то цветного.

— Райна подружка — Тоня Козлова — замуж вышла, — поясняет она мне. — Нынче второй день гулянье. По обычаю — надо рядиться.

Маскарад несложный. Ребята одеваются девушками, девочки — парнями.

Что из того, что Рая — колхозная звеньевая, а Нюся Пономарева — фельдшер, приехала в отпуск из Заполярья. Обе они воронежского корешка: плясуньи, частушечницы, и любая работа в руках кипит. Не отстанет и третья подруга — Маня. Сейчас она очень сосредоточенна — наводит углем усики. Она уже в необъятных галифе, в русской рубахе, расшитой сиреневыми и зелеными нитками.

— Митрошина... приданая рубашка, — говорит Мария Ивановна, — не пришлось износить. Тут все двенадцать, в сундуке... Сколько лет над ними слезы роняла. А теперь думаю: пусть будет молодежи удовольствие, пусть дети веселятся, и я с ними порадуюсь.

Свадьба в соседнем дворе. Уже родня пошла за сватами, сейчас они приведут «молодых», а ряженные станут в дверях и не пустят, пока не получат выкупа. Войдут молодые с гостями в избу — стол занят, сесть негде, снова откупайся.

Меня зовут поглядеть на свадебную игру. Уверяют: стесняться нечего. Там вся улица будет!

Действительно, зрителей всех возрастов вокруг избы множество. Но героев торжества еще нет. Нет и гармониста. Девушки с огорчением, но не без задора сообщают, что он вчера порвал меха, так гуляли! Все утро клеил, а теперь гармонь сохнет. Придется другого звать.

Пока пляшут без музыки. В одной группе развлекает людей высокий старик, явно успевший «зарядиться».

Сначала он изображает в лицах нерадивую жену, которая и стряпает-то «на скорую ручку, комком да в кучку», беспечного мужа, у которого «всякого нета припасено с лета», лодыря сына, что «велик телом, да мал делом».

Потом, взгрустнув, балагур затягивет песню солдатки о муже — герое турецкого похода — и его «неустрашимой любви»:

Он по грудь стоял в крове.

А сам думал обо мне.

Дальше, без всякого антракта, старик осведомляет присутствующих:

— Послал в Москву заявление, прошу меня в спутник запечатать, для всемирной науки.

Кто-то острит:

— А насчет жидкого горючего написал? На нем ты, дедушка, долго можешь вращаться в безвоздушном пространстве.

Старик не обижается.

— Я и стих сочинил, послушайте:

Спутник по небу летает,  
На нем красная звезда,  
Он все землю освещает  
Лучами мира и труда.

Стих всем нравится. Польщенный автор искренне удивляется сам себе:

— И откуда оно? Так слово к слову и лепится, так и совпадает.

Старик сыплет прибаутками, вызывая веселый смех. Только один парень будто не очень доволен.

— Идем, папаня, — говорит он, — хватит ерунду молоть.

Подгулявший отец не сразу сдается.

— Ерунда?.. — бормочет он. — Может, при царизме и атом считали — ерунда? А в нем ишь какая сила.

— До атома добрался, — смущенно разводит руками парень. — Теперь надолго пойдет философия.

К избе приближается свадебное шествие. Впереди чинно идут Тоня и Петр. Улыбка на их лицах немного напряженная. Все-таки нелегко быть в центре общего внимания.

Ряженные заслоняют двери. Начинается тот шуточный «спектакль», форма которого сложилась в старину, а содержание всякий раз льется свободно, подсказанное самой жизнью, расцвеченное искристой народной выдумкой.

Было в обрядовых играх и такое, из-за чего мы порой возражали против них: отголоски неравенства женщины, отрывки бескультурия, следы суеверий. Это уходит, изгоняется народом. А игра-обычай живет, делая торжественным и веселым праздничный день. И надолго памятным.

У мысли свои законы. Свадьба в Коршеве встала в моем воображении, когда я узнала, что мы встретились в лесном овражке с молодоженами. А там и потянулась ниточка: родилось раздумье о старинных обычаях.

И пока Тимашова, развязав пуховый платок и распахнув пальто, берет приступом первую высотку нагорной кручи, хочется рассказать еще одну маленькую историю.

На днях мы с Матреной Федоровной собрались ехать в колхоз. Я ждала, когда она меня позовет, а она вышла на крыльцо и что-то замешкалась. Вышла и я. Вижу: сидит она на ступеньках с двумя Акулинами Федоровнами. Одна — ее старшая сестра, вторая — няня Владика. Сестра рассказывает, как праздновали рождение сына шофера Дмитрия Голицына. Рассказывает подробно, со вкусом: что



пили, что ели, как одаривали младенца.

Сначала, как заведено, клали на тарелку деньги. Потом опорожни-ли ее. Бабушка поклонилась всем, говорит умильно:

— Дорогие гостёчки, ведь родился голенький, прикрыть бы его чем ни на есть.

Тут стали женщины дарить: пеленки, распашонки, мыло и просты-ню мохнатую — ребенка после купания завертывать, — много разно-го.

После этого на столе была перемена: подали холодец.

Теперь дед говорит:

— Обуть, одеть — это еще не вся потребность. Живому человеку и есть надо. А ну, расхрабись, воронежцы, — кладите живое!

Опять пошло наподхват:

— Кладу гуся.

— Кладу двух гусей.

Дядя вскочил:

— Ярочку кладу.

Дед как хватит кулаком по столу:

— Кладу старую овцу!

Значит, дедов верх. Ему и тарелку в черепки бить, как заведено.

Сестра рассказывает, а Матрена Федоровна придвинулась близко-близко и спрашивает, и свое что-то вставляет, и прямо живет этим событием.

И я думаю: много всякого перевидела Тимашова, особенно за последние годы. В разных странах бывала. Сиживала на приемах в посольствах. Но «званный обед», что давали в честь новорожденного колхозника, затрагивает ее глубже.

Ведь это и для него, маленького гражданина Советской страны, создавая изобилие, трудятся люди колхозной деревни.

Мы поднялись на взгорье. Свечерело. В домах зажигаются огни. Убыстря шаг, идет по аллее сада русская женщина, Матрена Федоровна Тимашова.

1958 г.

**Ольга Капитоновна КРЕТОВА**  
**ХОЗЯИКА СВОЕЙ СУДЬБЫ**

Редактор **Е. Ф. Олейник**

Технический редактор **О. Н. Ласточкина**

---

Сдано в набор 17.01.85 г. Подписано к печати 12.03.85 г. А 00339. Формат  $70 \times 108^{1/32}$ . Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,06. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 85 000 экз. Изд. № 784.  
Заказ № 115. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## **ДЛЯ ВАС, КНИГОЛЮБЫ!**

● В книжных магазинах книготоргов и потребсоюзов Российской Федерации книги можно не только купить, но и приобрести их по выигрышным билетам Всероссийской книжной лотереи.

● Стоимость билета 25 копеек. Сумма выигрыша (50 копеек, 1, 3 и 5 рублей) указана на внутренней стороне запечатанного билета.

● Вероятность выигрыша велика, так как из каждых 200 билетов — 69 выигрышных!

● По выигрышным билетам можно приобрести любую книгу или другие печатные издания по своему выбору из наличного ассортимента книжного магазина или киоска.

● Если сумма выигрыша меньше стоимости выбранной вами книги, можно произвести доплату наличными деньгами.

● Прочитанные книги вы можете предложить книжным магазинам для повторной продажи. Этим вы окажете добрую услугу другим книголюбам.

**Росглавкнига**  
**Дирекция Всероссийской книжной лотереи**  
**книготорг**